

## КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН

**К**аждый человек однажды стоит перед выбором пути — однажды он сам за него и ответит. Вывод прост, проще, чем три копейки, но загадка в том, что не все хотят видеть эту логическую связь. Ответить придется, такова неизбежность. Хотя о чем я говорю? Умный человек уже в пять лет знает, что нельзя брать чужое, а это ведь тоже выбор. В пять лет — чужая игрушка, а лет этак в восемнадцать — чужая судьба, та, что не по плечу. Момент выбора непостижимо краток — пауза между ударами сердца, чья-то роковая воля сжимает виски, обжигает мысли, требует ответа, и вот он, ответ, нарастает, как снежный ком, как ураган, вздрагивает вместе с сердцем... Всё... Решение принято. Ты был не готов? Так что же ты делал все предыдущие годы?

Таков или почти таков эпиграф любой юной жизни. Если бы все эти юные жизни понимали, что десятки ушедших поколений ждут их выбор с тревогой и болью, и желают им только добра...

---

Журнальный вариант. Начало в журнале «Подъём» № 4, 2019 г.

Чертова жара. Было ощущение, что до меня никто не знал, что такая вообще бывает. Она была снаружи моего парадного кителя с синим армейским ромбом и крылышками классного специалиста, она была под кителем мокрыми следами на белой сорочке, она была внутри меня в сухом хрипящем горле. Весь мир был одной сплошной жарой. Я родился в центре русской равнины, в Тамбовской области, некогда губернии, — там редко бывает жарко. Здесь, в Термезе, на самом юге Средней Азии, все иначе. Я только успел выйти из армейской гостиницы, как на меня накатил негостеприимная волна горячего воздуха. Штаб дивизии располагался в тридцати минутах хода от гостиницы, но это оказались минуты испытания. Затянутый в португо, в сверкающих хромовых сапогах, в фуражке, я шел по центральной улице Термеза мимо кирпичных, мимо глинобитных заборов, над которыми свешивались бледно-розовые дозревающие гранаты, и жутко хотел пить. Я мог бы и потерпеть, но эта мысль почему-то в голову не пришла. Отвечая моим желаниям, как по волшебству, на первом же перекрестке появилась большая желтая бочка на колесах с крупной надписью «Морс» и продавцом лет десяти от роду в придachu.

— Бала, налей стаканчик, — я поискал мелочь в карманах. — Сколько? — Три копейки, — он хитро улыбнулся.

Положив перед продавцом пятак, я большими глотками пил прохладный морс с привкусом айвы и даже не подозревал, что совершаю баальшную, непростительную глупость. Пить в такую жару нельзя. Категорически нельзя.

— Где сдача, бала?

— Нет сдача, — узбечонок развел руками. — Са-авсем нет.

— Вот плут, — я понял, что спорить бесполезно, и пошел дальше, к следующему перекрестку, до штаба дивизии было еще далеко.

Те несколько глотков морса через минуту потекли из-под околыша офицерской фуражки, выступили потом на груди и на спине, пересохло не только горло, но заодно и мозг, он отказывался сопротивляться. К следующему перекрестку я почти бежал, с обидой понимая, насколько я слаб и беспомощен...

Когда мой московский рейс приземлился в аэропорту Ташкента, на часах было пять утра по местному времени, я вглядывался в иллюминатор, таращил глаза, пытаюсь в предутренних сумерках увидеть Восток с его мечетями и минаретами. Стюардесса заученно объявила температуру воздуха за бортом лайнера: двадцать пять градусов тепла. День еще не начинался. Невольно вспомнилась парилка прошлой зимой и тот дикий пульс; что ж, будем держаться. К моему разочарованию, никакого Востока в ближайших окрестностях не оказалось — был обыкновенный аэропорт, как в Омске, Иркутске, как в Хабаровске, такой же стремительный, сверкающий стеклом, деловой, только вместо берез и кленов в скверах росли чинары и каштаны, и чаще, чем в Москве, встречались мужчины в тубетейках, не снимавшие их ни в холод, ни в жару. Через четыре часа он также по-деловому отправил меня дальше, в Термез.

Вздремнув полчасу на взлете, я проснулся, взглянул вниз и обомлел. От края до края под нами была песчаная пустыня, при ярком солнце проступали желто-серые террасы, контуры крупных барханов и холмов, изредка пересекаемые асфальтовыми дорогами и линиями электропередач. Самолет летел, а пустыня все длилась и длилась, захочешь сбежать — не сбежишь. Я неуверенно усмехнулся. Через месяц, как разберусь с жиль-

ем, сюда, в эти пески позову свою жену Лару, но как я это ей объясню? Вот она, юное дитя, точно сбежит! лишь бы самолеты не перестали летать. Знались мы давно, все больше по отпускам, а женились вот только что, накануне — мы долго не были уверены, что будем вместе, и теперь, глядя в иллюминатор, я втайне боялся, что она не примет такую Азию. Но тут вспомнилось, что моя Ларочка *декабристка*, что она, как и все девочки ее выпускного класса, давно грезила этой ужасной романтикой, а это значит... Не важно, что это значит, в душе заиграла маршевая музыка; нас, чернорабочих холодной войны, ничто не должно останавливать. Даже интересно, что я попал в Среднюю Азию, так далеко на юг не каждый заберется, надо бы только выдержат жару...

— Бала, стаканчик! — И этот, другой продавец был мальчишкой, я положил перед ним на поднос пяточок. — А сдача?

— Нет сдача.

— Вы что тут, цыгане, что ли?

— Нет цыгане, — он состроил удивленную рожицу. — Нет сдача.

Ругаться с мальчишкой я не собирался, но каков мошенник! Пока он подрастет, успеет полный дипломат набить крупными купюрами, не отходя от домашней ограды. Вот как жить надо! А русский человек едет строить БАМ, добывать нефть, покорять Сибирь в надежде заработать свой честный *длинный* рубль. Да и я не лучше; забрался в пустыню, в пекло, на самый край Союза, только что не за длинным рублем: у меня, у военного, была совсем другая мотивация.

Я уже торопился к следующему перекрестку, там меня ждала очередная желтая бочка, очередной маленький плут, а до штаба дивизии было все еще далеко.

Через неделю моя прежняя мотивация в корне изменилась; жара, пустыня, пески Сурхана, раздуваемые ветром, были здесь ни при чем. Все, что со мной происходило, было чем-то из приключенческого кино, в котором, по идее, должен быть хэппи-энд, но на пути к нему, в самом начале, я почувствовал, как оказался в крепкой, надежной западне. И если это правда, что каждый сам делает выбор и сам за него отвечает, то я отвечал по самой высокой планке: своей службой — западней. У меня во взводе был только один русский, только один украинец — молодые забытые солдаты, к ним прилагались три таджика и шесть узбеков, в том числе сержанты, они тоже были узбеками. В первый день службы я узнал, что в природе существует *дедовщина* — торжество сильных, дерзких, опытных — и мне захотелось защитить своих молодых солдат от чужого торжества. Но они не дружили между собой, а моей поддержки даже испугались, так что благородный командирский порыв, моя отеческая опека оказались ненужными.

— Не надо, товарищ лейтенант, только хуже будет.

— Как это хуже? Вы о чем?

— Тут все по-другому, Вы ничего не знаете и ничего не измените.

Через ту самую неделю я проводил с ротой политзанятия, рассказывал об агрессивном блоке НАТО, о ракетах, расположенных в Турции и нацеленных на наши южные города. Солдаты слушали, открыв рот, я принял это как знак неподдельного интереса, но, думаю, ошибался; они просто давно не слышали так много умных, спокойных слов, как из телевизора, когда на них никто не орал благим матом, не заставлял рыть траншеи от совета до заката, не угрожал. Занятия закончились, я был во-

одушевления солдатским вниманием и все же устал, потому что полтора часа повествования о наших врагах стоило дорого. Ко мне подошел солдат Худайдодов, невысокий, щуплый таджик с лицом как печеное яблоко, я бы легко дал ему лет сорок, если бы не знал наверняка, что ему чуть за двадцать и этой осенью у него *дембель*.

— Что, Худайдодов? Спросить хочешь? — Тот смотрел на меня снизу вверх туповато, без особого интереса, но взгляд его был твердым.

— Пошел на хрен! — В силу литературных традиций я не дописываю последних букв. Волна удивления накатила на какую-то часть моей подкорки, введя меня в ступор, — я тупил, я откровенно тупил.

— Не понял. — Я на самом деле не понял, но разум и характер уже начали включаться.

— Пошел на хрен!

Зря Худайдодов это сказал... По причине невысокого роста он доставал мне головой только до уха, поэтому сокрушительный удар прямой правой в нос был удобен, легок, напрашивался сам собой, ну и напросился. Сзади солдата почти на уровне поясицы стоял ученический стол, он и решил дело. Голова Худайдодова с примятым от удара лицом стремительно отшатнулась назад, потащила за собой худое тело, сальто-мортале назад через стол ему удалось, и пару секунд спустя он со стуком расплющился на линолеуме ленинской комнаты в пяти метрах от меня. Придя в себя, он взбрыкнул, как баран после удара рогами о новые ворота, вытер разбитый нос, размазал соплю с кровью по куртке, приподнялся на колени.

— Так что ты хотел спросить? — Я тяжело дышал, все еще наполненный раздражением и бушующим гневом.

— Не-ет, ничего, мне тока сказали узнать, какой такой новый командир?

— Ну что, узнал, чурка недоделанный?

— Узналь, — он, наконец, встал, отряхиваясь, ощупывая побитое лицо. — Теперь все понятно, есть такой командир, — он снова потрогал лицо и даже поджал губы в неловкой попытке изобразить улыбку.

Утром в порядке еженедельного разнаса и укрепления воинской дисциплины перспективный комбат Геворкян переворачивал солдатские постели, проверял наличие простыней с синим армейским штампом, лицевых и ножных полотенец. Как оказалось, у меня во взводе не хватало двух простыней, что было большим происшествием, и не было ничего удивительного, что простыни «ушли» у молодых. Комбат особенно не церемонился. Меня, только прибывшего лейтенанта, он ставил в строй, как будто тыкал щенка носом в дерьмо, чтобы я не думал, что за ротное барахло отвечает старшина, которого я еще ни разу не видел. Делал это комбат нечистоплотно, в присутствии солдат, точно показывая, кто здесь главный, было ощущение, что теперь он *бил меня по лицу*, — цинично, расчетливо. Солдат Худайдодов, последний на левом фланге, с насмешливой grimасой посматривал в мою сторону, на мою реакцию. Так что падать мне под таким прицелом было никак нельзя, ни на спину, ни тем более лицом... в грязь.

В субботу был обычный парково-хозяйственный день. Больше хозяйственный — не важно, лишь бы у солдата не оставалось свободного времени на разгильдяйство. Оно и правильно, но свободного времени не оставалось и у командиров, кто-то же должен быть пастухом у служивой па-

сты. И вот в такой солнечный субботний день, спустя две недели после прибытия в Термез, я впервые увидел Аму-Дарью, речку.

Команду из двадцати солдат нашей роты во главе со мной направили в речной порт на погрузку очередной баржи для Афганистана. Нам повезло: грузили не цемент и не уголь, а коробки со сгущенным молоком, с рыбными консервами, пятилитровые жестянки с маргарином. Я стоял на палубе баржи у самого борта, разглядывал речную панораму, вдыхая влажный запах прибрежной тины. Иртыш — шире, спокойнее, чище, но у каждой реки свой шарм — за желто-коричневой волнующейся гладью Аму-Дарьи, за камышовыми зарослями начиналась чужая страна, полная настоящих приключений и тайн. Я так долго смотрел на противоположный берег, что различил там людей в форме, в панاماх, один из них, наблюдатель, смотрел в нашу сторону в бинокль. Первое, что пришло в голову — стать незаметным, я чуть отшатнулся от борта — у людей в руках было оружие.

— Товарищ прапорщик, — я толкнул локтем начальника склада, стоявшего рядом со мной и делавшего записи в блокноте. К слову сказать, для меня все прапорщики, кроме старшин, были тогда начальниками складов.

— ...Сто пятьдесят семь, сто пятьдесят восемь... Стой! Стой, говорю. Пять минут перекур. Что?

— Люди на той стороне в нашей форме с автоматами нас в бинокль рассматривают.

— А-а, пограницы. Наши пограницы оба берега охраняют. Прикинь, там у них выслуга год за три идет, а здесь год за полтора, а речка та же самая, жара та же самая. Вот для термезских облом, да?

— Там наши?

— По-другому никак, иначе мины к вам в полк прямо на плац прилетать будут, — прапорщик гоготнул. — Они момент не упустят.

— Кто?

— Кто, кто... Духи! Ну, ты даешь, лейтенант, с луны что ли свалился?

Между тем солдат, несший сто пятьдесят девятый ящик со сгущенкой, споткнулся о чью-то услужливо вытянутую ногу и под всеобщий гогот и веселье растянулся на палубе во весь рост. Картонная коробка ударилась о ржавый железный настил, лопнула в нескольких местах, и блестящие банки в бело-синих обертках покатались по палубе в разные стороны. Солдаты тут же бросились собирать хозяйское добро; собрали, но и навскидку было видно, что из сорока пяти банок их осталось меньше половины.

— Стоять всем! Куда дели банки, уроды?

Опоздал начальник склада. Двое «черпаков», что уже отслужили по году, прикрывшись рубкой, продырявили банки подручными средствами, то есть гвоздями, и яростно высасывали содержимое; и оторвать их от этого занятия не смог бы никто, даже взбрыкнувший начальник склада. Другие им по-тихому завидовали, сглатывая слюну, озирались по сторонам и только ждали подходящий момент, чтобы оприходовать свою добычу.

— Ну, товарищ лейтенант, наведите порядок, нельзя же...

— Ну, товарищ прапорщик... — я передразнил его, чуть скривив губы. — Это же голодные солдаты... Не дашь добровольно, они и так утащат... Это же сгущенка, не уследишь... К тому же солдаты готовятся действовать в отрыве от главных сил, в отрыве от тылового обоза, лучше уж санкционировать.

— Так ты с ними заодно?! Ну, погоди, лейтенант, я доложу о безобразии.

Я только пожал плечами: конечно, заодно, это же мои солдаты. Прапорщик был матерый, на каждой банке хоть сгущенки, хоть рыбы, хоть тушенки он имел свою маленькую хозяйскую копейку, а тут голодранцы из полка половину коробки растащили. Мои доводы он не слышал.

Палуба баржи закачалась на прибрежной волне. По Аму-Дарье, торжественно развевая зеленый флаг на кормовом флагштоке, разрезая мутную воду, на хорошей скорости шел пограничный катер.

— Доложишь?.. — После грубой реплики начальника склада я перешел с уважительного языка на тот, что попроще. — Будешь угрожать, мы еще две коробки разобьем или утопим нечаянно, вон какую волну катер поднял.

Я разозлился, было в глазах у этого прапорщика что-то неприятное, такой своей выгоды никогда не упустит. Мы уже загрузили несколько тонн сгущенного молока. В городе оно не продавалось ни в одном магазине, ну а в селах и кишлаках, откуда родом мое нынешнее войско, его и вовсе никогда не было.

— Так что, прапорщик? Потом разбираться будет поздно, солдат — он и в Африке солдат, с него какой спрос?

— Ладно, бойцы... Каждый может съесть по банке, только чтобы задницы не слиплись, — прапорщик что-то прикинул и смягчился, — с собой в полк ничего не брать! Поняли?

— Ну вот, другое дело.

— Поняли, товарищ прапорщик, благодарствуем.

— Поняли...

Конечно, они поняли. Зачем с собой-то брать, с дембелями что ли делиться?

Я снова оглянулся на афганский берег, с той стороны реки уже нико-го не было видно, порывы ветра гнали по воде мелкую рябь, широкими волнами качали серебристый камыш, над которым по всей береговой линии возвышалась ровные ряды проволочных заграждений.

Полк строился на плацу на утренний развод. Посмотрев на часы, я поднялся на второй этаж в нашу батальонную казарму. Тумбочка дневального пустовала, что соответствовало красному сигналу тревоги: напротив этой тумбочки находилась комната для хранения оружия, и значит, она была без охраны. Я невольно напрягся. В казарме было подозрительно тихо, но уже через несколько секунд я уловил шорох и напряженное сопение, доносившиеся из-за квадратной колонны, из дальнего угла. Все еще оглядываясь по сторонам в поисках дневального, я прошел по широкому коридору и, наконец, понял, откуда доносился этот шум. Солдат-кавказец сцепился с офицером, взводным из соседней роты, пытался его ударить кулаком или уже ударил, и ситуация для обоих была патовая, никто из них победить в этой нелепой схватке не мог. Для победы надо было хотя бы наносить удары отважно и сильно, ломая волю противника и точно понимая, что дальше в дело вмешается военная прокуратура со всеми вытекающими последствиями. У меня в голове не было такой долгой цепочки мыслей, поэтому и реакция получилась решительной и мгновенной. Никто не смеет поднять руку на офицера, офицер — это командир, это столп мироздания. Никто не смеет! Сама мысль должна быть выжжена на корню! Карфаген должен быть разрушен...

Солдат хозяйственного взвода Бахрамов на полковое построение не пошел, дембель все-таки, да и настроения у него с утра не было. Он лежал в сапогах на постели, дыша в потолок перегаром от ночного запоя, когда, как назло, в казарму приперся Сурепов, командир взвода из пехоты, тот, что ровесник комбата. Борзой этот взводный, переросток потому что. Но зачем он назвал его кавказской собакой, которая забыла плоть хозяина? И обматерил именно «по матери», дурная русская привычка, непонятная инородцам, поэтому они ее воспринимают буквально по тексту как самое большое зло. Бахрамов ответил, что он кавказский волк, вцепился в потерявший офицерский погон, оторвал, и теперь погон болтался на нескольких обтрепанных нитках. Все это длилось секунды — Сурепов ударил его в лицо, кавказец ответил, он был массивнее и сильнее, — оставалось узнать, кто из них злее. Ошибка взводного была в том, что он потребовал подчинения от чужого солдата, да еще из хозвзвода, как от своего. Но он думал иначе, не считал это ошибкой или вообще ни о чем не думал. Офицер? Если не забыл, что ты офицер, делай, что должен. Ошибка была в другом — нельзя опускаться до уровня солдата и терять авторитет. Когда не хватает характера, его замещает агрессия, эмоции, и уже нет разницы, профессор ты или обыкновенный уличный хулиган.

Карфаген должен быть разрушен... Бросив на ближайшую койку левую сумку, я в один прыжок перемахнул две тумбочки и кровать, и со всего размаха, с яростью ударил кавказца в лицо, сбил с ног. Второй удар пришелся вскользь, но расстегнувшийся браслет от часов прочертил на его щеке красную борозду, которая тут же набухла кровью. Сурепов с разбитой губой стоял за моей спиной, тяжело дышал, потирал мокрую пунцовую шею. Бахрамов лежал в проходе между кроватей, закрывшись руками от следующего удара, он не сопротивлялся, но сквозь его расставленные пальцы я увидел злой мстительный взгляд, которым он сверлил Сурепова. Не меня?! — С занесенным для удара кулаком я был ему совершенно не интересен.

— Чего разлегся? Вперед, в санчасть. За нападение на офицера пять лет получишь, дебил.

Бахрамов медленно поднялся и поплелся на выход из казармы, пытаюсь держать спину прямой, с трудом скрывая желание оглянуться назад. Я застегнул на запястье браслет, отряхнулся и только потом грустно усмехнулся про себя. Ничего он не получит! Кому в дивизии нужно вешать на шею такое происшествие? Гиля! С ней начальнику политотдела дивизии и утопиться можно. Хорошо, что нас двое: если придется в прокуратуре давать показания, отобьемся.

— Ну что, Сурепа, как же ты так?

— Вот так! Ты его видел? Урод конченный.

— Это я понял. Здоровый бугай, тут без шансов. Ты что полез в драку?

— Мимо пройти?

— А что, лучше подставиться, чтобы отмудохали и погоны сорвали, так что ли? — Я сочувственно скривил физиономию. — И ни одного свидетеля.

— У нас не полк, а изолятор для уголовников, — он помолчал недолго, рассматривая носки хромовых сапог. — Говорят, при Сталине заградотряды были, я бы таким покомандовал, этим шакалам мало бы не показалось. А с дневальным... Не просчитал я ситуацию, когда дневальный убежал...

— Я его тоже не видел.

— А-а, вот в чем дело! Где эта сволочь *заныкалась!* Дневальный, мать твою, а ну бегом ко мне! Кому сказал, бегом! В нарядах сгниешь!

Да, этот точно сгниет, подумалось как-то само собой; молодой, наверное, на крайний случай — «черпак», но уже держит нос по ветру, знает, когда этот нос лучше не высовывать. А мне надо было срочно подыскивать новую мотивацию для своей дальнейшей службы.

\* \* \*

«Подруга дней моих суровых...» Фраза как будто прилипла к языку, я повторял ее, зная или надеясь, что все когда-нибудь образуется, а вот каково было моей жене после городской цивилизации? Каково комнатному растению, привыкшему к уютному подоконнику, остаться под знойным солнцем и без воды? Мне было ее жаль, и то, что она примерила к себе меня и мою судьбу, вызывало прилив нежности и любви. А может быть, она «кактус»? Тоже ведь комнатное растение. Но это еще предстояло проверить.

Что там дальше было у Пушкина? «Старушка дряхлая моя...» Здесь мы обычно смеялись, и тяготы азиатской жизни сглаживались сами собой. Толстый ватный матрац был нашей постелью, для любви этого хватало. Были бы чувства. Я приходил в девять, в десять вечера (если в наряде — вовсе не приходил), она уже дремала с раскрытой книгой в уголке старого кресла, доставшегося нам от предыдущих жильцов, долго смотрел на нее, жалея, потом будил.

— Где ужин, жена?

На самом деле я не был так строг, но Лара подхватывалась и бежала на кухню за сковородой, на которой томилась жареная картошка с луком, готовить что-то другое она еще не научилась, — ничего другого я и не просил. Пока накрывался журнальный столик, я ставил пластинку на самый дешевый монопроигрыватель, который мы купили с моего первого заработка, а там... там снова пела Пугачева. «*Ты... Теперь я знаю, ты на свете есть, и каждую минуту...*» Надо было бы выкинуть этот жуткий минор, ввергавший в депрессию, но рука почему-то не поднималась, хотелось, как в песне, пройти по краешку судьбы. Что-то родило меня и с песней, и с пустыней Сурхана, притягивало, наверное, ощущение краешка судьбы, туман будущего уже рассеялся, и мне было очевидно, что край близко. Он был запретным плодом, хотелось заглянуть за него, вкусить... Мы ужинали под этот минор, выключали свет, укладывались спать, обнимались после разлуки длиной в жаркий день, а иногда и засыпали под него. Иногда не засыпали, и долго разговаривали полупшепотом, ворочаясь с боку на бок.

— Скучно мне, тебя никогда нет, даже на обед редко приходишь.

— Служба, — полусонно пробормотал я, несколько не оправдываясь, скорее подводя итог длинному дню. — Читай книги, расширяй кругозор. А что твои подружки?

— Мы уже надоели друг дружке. Кто письмо получит, рассказывает, что дома случилось, что там новенького...

— Да, дома... А здесь тогда что?

Много лет моим домом была казарма, насыщенная запахами пота, сапожного крема, одеколona «Красный мак», с минимумом личных вещей, умещавшихся в прикроватной тумбочке, и вот эта комната в четырнадцать квадратных метров казалась мне уютным семейным гнездышком или обжитой пещерой и уж точно была территорией моей свободы.



— Ну, какой это дом? — Вздохнула она виновато, почти оправдываясь. — У нас даже телевизора нет.

— Придумаю что-нибудь. — Теперь я вздыхал виновато. — Может, в кредит возьмем... Или в комиссионке подержанный.

— К маме хочу. Домой. Там уже первый снег выпал. — Лара только что не скулила, хотела, чтобы я ее пожалел. — А здесь снег бывает?

— Здесь? Нет, не бывает. — Я немного помолчал. — У нас скоро большие учения будут, в Туркмении, вот и съездишь к мамке. А там и сессия в твоём институте подойдет, так что, пока будешь учиться, отдохнешь пару месяцев от Средней Азии, от узбеков и от меня заодно.

Я повернулся на другой бок, собираясь заснуть. «Вот это судьбу я себе выбрал! Я? А кто же? Что дальше? Дальше — вот это и есть самое интересное...» Но вдруг из полудремы протестом прорвалась одинокая неуверенная мысль. «Песчинка, гонимая ветром...» Что я о себе возомнил? Даже Бахрамов, чтоб его переключило, взводит меня как ударно-спусковой механизм. Я запрограммирован, и судьба моя — программа. Мы гордимся, что сами выбираем судьбу, а потом не можем понять, как это с нами произошло. Даже если решишься все бросить, все изменить — ничего не выйдет, с дистанции не сойдешь, потому и говорят: бывших военных не бывает. Программа работает дальше». К утру мысль терялась в закоулках спящей памяти, а противно звенящий будильник полностью очищал ее от ночных сомнений.

Жили мы в коммуналке, если так назвать квартиру на две офицерские семьи. Поневоле приходилось делить прихожую, ванную комнату, кухню, поневоле прикасаться к чужой жизни; это не слишком нас беспокоило, мы не завидовали соседям, их утреннему кофе, бутербродам с красной икрой, устроенному быту. Не завидовали, но и не дружили, для дружбы не хватало равенства и еще какой-то мелочи, вроде одинакового слоя пыли на солдатских сапогах и сапогах из дорогой кожи. Соседи были всего на год старше нас, однако их обывательский достаток соответствовал хорошему московскому уровню. Я не знал другого сравнения, иначе сказал бы — ташкентскому. Сам я впервые видел русских людей, которые родились и выросли в Ташкенте и не собирались его менять на любой другой город; неловко сказать, но раньше, в школьные годы, я был уверен, поскольку Ташкент — узбекская столица, то и живут в нем только узбеки.

— Мы с ними из разных социальных слоев, — как-то перед сном высказала мне жена; чувствовалось, что в институте она изучает теорию марксизма.

— Лара, какие слои, ты о чем? Слой у нас один — рабоче-крестьянский, — со знанием дела отвечал я супруге, смутно догадываясь, что теория замалчивает особый слой директоров магазинов, начальников баз и складов и прочих примазавшихся к народному добру.

— А прослойка интеллигенции?

— Например, твоя мать, да? Ее интеллигентность дала ей очки с диоптриями в роговой оправе и копейчную зарплату в придачу, — я помедлил. — Ну да, и палку сухой колбасы к 9 Мая как ветерану войны.

— Моя мама — честный человек, — с обидой высказала мне жена.

— Вот мы и нашли эту честную прослойку.

— Это несправедливо.

— Что? Что зарплата копейная?.. Ну да, жизнь вообще — штука несправедливая. Давай спать, что ли...

Вадим, сосед, тоже днями не бывал дома, в этом наши графики сов-

падали. И у жен тоже совпадали, поскольку они нигде не работали. К слову сказать, жена у Вадима была красавица, особенно утром, когда она неторопливо выгуливалась в голубом полупрозрачном халатике, в узких трусиках, если, конечно, она была в трусиках. Если она была без трусиков, это тоже было видно, и мне казалось, что она специально задерживается на кухне, в прихожей, чтобы показать мне, насколько она хороша. Когда моя жена уехала-таки на сессию, задерживаться соседка стала чаще, всегда находя повод, чтобы повозиться на кухне, погреть посудой. Она могла в задумчивости остановиться, слегка повернуть голову, поправить волосы, как будто хотела что-то сказать и не решалась. «Посмотри, какая я!» — Да, именно это она и хотела сказать, она играла, получая от этого удовольствие. Когда уже есть все материальные блага, жизнь может показаться пресной, надо придумать себе объект для тайных желаний или лучше того — для соблазна. Может быть, я и был таким тайным объектом. Вадим в это время еще потягивался в постели в своей комнате, протирая сонные глаза, он уходил на службу чуть позже меня. Впрочем, его супруга действительно была хороша, просто я не слишком обращал на нее внимание, мое сердце было занято. Страшно сказать, я был влюбленным лейтенантом.

Сегодня я свободен от распорядка дня, от ротной казармы, от Худайдодова и Бахрамова, сегодня я отдыхаю в гарнизонном патруле, а это и есть глоток свободы. Начищенный, наглаженный, в сопровождении двух крепких солдат я гуляю по солнечным улицам Термеза, стараясь держаться в тени тополей. Мы с солдатами даже пьем морс небольшими глотками, предварительно я показываю юному продавцу пальцы в виде щелбана и объясняю, что с ним будет дальше, если не будет сдачи на мой или солдатский пяточок. Улыбается, плут. Город по-азиатски светел, уютен, в нем нет слишком высоких строений, ломающих очертания садов, кирпичных и глинобитных заборов, если не считать армейских крупнопанельных домов и недостроенного каркаса девятиэтажного здания обкома партии. Гранаты за последний месяц дозрели, стали темно-красными, теперь ими торговали на перекрестках по рублю за четыре штуки. Дороговато. На ближайшем повороте улицы мои патрульные, как заговорщики, переглядываются, задерживаются ненадолго, но не успеваю я сгрудить брови, чтобы их отругать, они уже догоняют меня с гранатами в руках.

— Э-э, вы что делаете, грабители?

— Так они висят над забором, то есть над тротуаром.

— И что?

— Согласно римскому праву все, что находится на моей земле, мое.

Тротуар — общественное место, значит, все принадлежит всем.

— Откуда такой умный взялся?

— Из Ташкента, второй курс университета. Типа, отчислили.

— Типа, за неуспеваемость, — я весело гоготнул, — двоечник. Если

я на минуту оставлю на тротуаре свой портфель, это что же, он принадлежит всем?.. Ладно, давай сюда гранат. Конфискую — по праву сильного.

От широкого арыка, протекавшего через центр города, тянуло утренней свежестью, иногда налетал легкий ветерок, заставляя шелестеть листву серебристых тополей. Все бы хорошо, но у начальника патруля, то есть у меня, есть план от коменданта гарнизона, в котором значится, насколько надо поймать нарушителей воинской дисциплины, слоняющихся

ся по городу. Пункт первый: шесть самовольно отлучившихся. Где их брать, я еще не знал, но комендант, полноватый майор, туго затянутый ремнями, недвусмысленно заявил: не выполним план — задержимся в комендатуре, а патрульные точно сядут на гауптвахту. Что-то мне подсказывало, что комендант не шутил.

Первых двух нарушителей порядка мы увидели в квартале впереди себя. Далеко. Ближе к рынку попались на глаза еще двое, но они увидели патруль раньше и быстро скрылись в толпе. Рынок — магнитное место, сюда ручейками стекаются деньги, здесь люди меняют их на вещи или просто завидуют тем, у кого они есть, а продавцы превращают свой ходовой товар обратно в деньги. Сюда же стекаются беглецы, чтобы ощутить приступ ложной свободы и запах горячей самсы.

На ближайшем перекрестке мы столкнулись с очередным беглецом. Он, не раздумывая, бросился вдоль рыночной ограды. Бежал быстро, поскольку был в самовольной отлучке, но я бежал быстрее, поскольку был тренирован, догнал, и после передней подножки солдат с размаху ударился лицом о горячий асфальт. Не сгруппировался, а должен был.

— Попался, лежи! — Я тяжело дышал, наваливаясь на него сверху — Добегался.

— В город надо было, очень надо было.

— На гауптвахте будешь объяснять, — я заломил ему руку за спину, делая всякое сопротивление невозможным.

— Больна-а!

— А ты думал, бегать в самоволку — развлечение? Лежи, не дергайся.

Вокруг стал собираться народ, такой же любопытный и сострадательный, как у нас, например, на Рязанщине, и все бы ничего, но это были узбеки, человек восемь, не меньше. Солдат с разбитым носом, соответственно, тоже был узбеком.

— Э-э, что делаешь, командир? — вскинул ладони молодой мужик, сразу видно — служил.

— Сильно ударился, больно ему, — причитала тетка средних лет в цветастом платке, наверное, ее сын тоже в армии, тянет где-то свою лямку.

— Вай, вай, совсем плохо ему, нет такого закона, чтобы человека бить прямо на улице, — голос из-за спин призывал к смуте.

Да, прямо на улице нельзя. Я оглянулся, ища своих патрульных. Где этот недоученный ташкентский юрист, он объяснит толпе, что полагается по закону тому, кто нарушает служебную дисциплину и убегает из части. Патрульных не было. Они увидели толпу узбеков и решили не торопиться следом за мной, притулившись у соседней чинары. Толпа прибывала, всем было интересно, что тут происходит.

— Эй, руски, отпусти солдата, зачем тебе?

— Он на службе, он присягу принимал. Понятно? — Я тяжело дышал. — У него есть командиры.

Но, похоже, всем своим скопищем узбеки не понимали, что такое присяга и к чему она обязывает, они воспринимали ее как мою прихоть, как атрибут чужого им общества. Чей-то напряженный взгляд, не поднимаясь до уровня моего лица, скользнул по подбородку, плечу, ремню портупеи. Отвечая ему, я почти случайно провел рукой по кобуре с табельным оружием — на месте — и вспомнил, кто я есть и что делаю здесь, в Термезе, на самом краю Союза.

— А ну, ко мне, патруль! — заорал я во все горло на своих бойцов, выходя из себя.

Обстановку надо было как-то взять под контроль, и этот окрик больше предназначался не моим солдатам, а толпе, бродившей на своих узбекских дрожжах. Мои патрульные нерешительно выглянули из-за дерева, потоптались на месте и медленно пошли ко мне. Я огляделся, толпа недружелюбно поглядывала на меня, на патрульных, но уже никто не осмеливался показывать враждебность.

— Вставай, боец! Не вздумай чудить. Ты задержан за самовольную отлучку.

— Мне надо было в город.

— Вперед!

Не оглядываясь, мы двинулись в сторону комендатуры. Там у меня приняли задержанного, выслушали доклад.

— Ну и как? — Комендант, держа руки за спиной, с интересом разглядывал меня, оценивал. — Пообщался с местной публикой?

— Пообщался. Думал, набросятся.

— Как себя поведешь. Вот под таким местным прикрытием эта шатия-братия оставляет свои части, бежит, — он кивнул в сторону самовольщиков, стоявших без ремней у высокой бетонной ограды гауптвахты. — Это вопрос. Вот мы его и решаем. От офицера в любой ситуации требуется выдержка и твердость, но если необходимо действовать — решимость. А что, лейтенант, ты и вправду стрелять собирался?

— Никак нет, товарищ майор. Даже мысли не было.

— Что же тогда за кобуру хватался?

— Так за кобуру, — я смутился, откуда он узнал? — Пистолет, ну, это как резерв Ставки. Важно, чтобы резерв был.

— Но это же толпа! — Комендант чего-то добивался, и его вопросы пахивали провокацией.

— Мне показалось, если в толпе выбрать одного, главного и напереть на него, как следует...

— Хорошо, лейтенант. Отправляйся на маршрут. План по самовольщикам прежний. Патрульные, если себя не реабилитируют, будут арестованы на сутки — встретив мой удивленный взгляд, добавил: — За то, что бросили начальника патруля.

План мы выполнили, но лучше бы не торопились. Оставалось еще два часа до конца службы, когда комендант поручил мне провести занятие по строевой и физической подготовке с арестантами гауптвахты. Их было двенадцать человек. Они были разными и по росту, и по комплекции, а также по цвету погон, но что-то их осеязало роднило. Все они хотели казаться развязными, дерзкими, может, они такими и были, раз оказались на гауптвахте? Лучше не обобщать; для меня, начальника патруля, они должны быть только солдатами, которые отрабатывают свои провинности. Как-то на первом курсе училища я оставил свой автомат без присмотра, сам отошел к приятелям прикурить сигарету. Командир роты, увидев брошенный автомат, заорал как раненый зверь! В общем, мне это стоило пяти суток ареста, зато на всю жизнь запомнил, что бросать оружие нельзя.

— Равня-айсь! — Солдаты зашевелились, но это не было выполнением команды. — Отставить!

Они насмешливо переглядывались, кривили физиономии. Летеха, то есть я, был для них пустым местом, многих офицеров они повидали в нашем гарнизоне, многим плюнули в спину.

— Рав-ныйсь!

Результат был тот же. Теперь, кто посмелее, стали меня рассматривать, не стесняясь, ждали продолжения спектакля. Им было на что посмотреть: на моем лице уже разрастались розовые пятна, а в руках чувствовалась дрожь.

— Упор лежа принять!

Не понимая того, я упорно шел к своей точке невозврата. Они смеялись! Смеялись в открытую, а меня изнутри выжигал адский огонь позора и гнева. И вдруг меня осенило: они — не солдаты. Настоящие солдаты, пацаны, мальчишки служат своей Родине, идут в Афган, рискуют жизнью, а эти улюкши насмежаются над солдатской службой. Почти без стука я влетел в кабинет коменданта гарнизона, сразу попав под остужающий воздушный поток из кондиционера.

— Товарищ майор...

— Ну? — Комендант скосил на меня удивленный взгляд, продолжая разбираться в бумагах на объемистом столе.

— Товарищ майор, они не выполняют приказ, они насмежаются.

— Какой приказ?

Он был раздражен тем, что его отрывают от дела, и еще не понимал, что мне от него надо. Но вот до коменданта дошел смысл сказанного, его кулаки уперлись в столешницу, и он начал медленно подниматься над столом, пока не взгромоздился над ним всей своей огромной массой. Костяшки его пальцев побелели, одутловатое лицо налилось краской, как минуту назад у меня; наконец, он оторвал взгляд от вороха бумаг и устремил его на меня.

— Лейтенант! — Рычащий горловой звук заставил меня напрячься, как для броска. — Что у тебя на плечах, лейтенант!?

— Погоны, — я невольно огляделся.

— Так какого черта ты ко мне пришел?! Действуй, лейтенант! — Он орал громче, чем мой ротный в тот незапамятный день, от его крика содрогнулись стены и мои барабанные перепонки, а указательный палец прямо указывал на дверь. Удар был хорош, крепок, стремителен, он и не мог быть другим. Солдат, стоявший на левом фланге... Какой, к черту, солдат? Арестант, стоявший на левом фланге, был выше меня ростом, шире в плечах, я ненавидел его уже за это, а он еще ухмылялся. Ненавидел как преступника, осмелившегося не выполнить приказ, посягнуть на святое, на армейский порядок, на мою Родину. Сегодня армейский порядок и был моей родиной. Он не понял, что из кабинета коменданта вышел не я — совсем другой офицер. Он продолжал ухмыляться. Удар был хорош, и тупая лыбящаяся голова отлетела назад, он потерял равновесие, потом неловко всплеснул руками и схватился за разбитое, расплющенное лицо. Этого я уже не видел, я шагнул к следующему арестанту...

Господи, что я делаю?.. Нет, я ничего не делаю. Я только повинуюсь своим демонам. Они в обиду не дадут. Я чувствовал прилив сил, прилив воли и уже знал, что препятствий не существует. Внутри меня алым, огненным зевом пылала доменная печь, изрыгавшая раскаленные брызги, горящую лаву гнева.

— Отжиматься! — хрипело мое горло. — Раз! Раз! Раз!

Они отжимались. Они бешено отжимались. Старались опередить друг друга. Мерзавцы. Труссы... Испугались одного обычного удара в первую попавшуюся поганую морду. Я расправил складки кителя под португе-

ей, поправил воротничок сорочки, приподнял подбородок и, наконец, выровнял дыхание. Так и должно быть, так — и никак иначе.

Пройдя весь строй, я развернулся и также медленно пошел назад, когда случайно уловил движение в зарешеченном окне комендатуры. В квадратах окна, ограниченных однотонными, выгоревшими на солнце шторами, я разглядел крупную фигуру коменданта, мне показалось, что он улыбался.

— Всем встать! Заправиться.

Я снова шел вдоль строя, заложив руки за спину, чтобы никто не видел разбитые в кровь кулаки, и глядя им в глаза. Я хотел прочитать в них страх и читал его, совсем недавно они насмеялись. Хм, комендант... Комендант спрашивал, зачем я утром брался за кобуру? А сейчас я за нее еще не брался. Это резерв Ставки, это мой резерв, личный. Пусть только какая-нибудь сука не выполнит приказ. Мозги вышибу...

— Жена, у нас водка есть?

— У нас — нет. Случилось что?

— Нет, ничего не случилось. — Я сидел на диване, опустив голову, неловко пряча разбитую правую руку и разглядывая серый линолеум под ногами. — Просто неправильный день.

Об этом и не расскажешь, разве кто-то поймет? Вот и жена, если узнает, какой я на самом деле, может испугаться, она ничего обо мне не знает, даже обыденных вещей. Я и сам о себе многого не знаю. Но разве я нарушил присягу? Отчего же так гадко, и где-то там под ребрами скребут кошки?

— Могу у соседей спросить, у них точно что-нибудь есть.

— У соседей? У этих — не надо.

Разглядывание линолеума успокаивало, придавало ровную окраску тревожным мыслям. Они — не солдаты. Кто угодно — преступники, подлецы, отребье, но не солдаты, их место в камерах комендатуры, а не в строю. Солдата бить нельзя, его задача — защищать Родину, умереть за Родину, если придется. Он достоин уважения даже авансом, в счет всех своих будущих войн, в счет всех своих смертей и всех побед...

Эшелон третьей сутки стучал на стыках Турксиба, но больше стоял на неведомых безымянных полустанках-разъездах. Это не литерный, не скорый пассажирский — тех пропускают без задержки — это воинский эшелон с танками, боевыми машинами, автомобилями на открытых платформах, с солдатскими вагонами-теплушками времен царя-гороха и товарища Сталина, он идет по своему графику и чаще по ночам. И так полторы тысячи километров до окружного полигона. Днем на полустанках было жарко от перегретых песков, от крыши вагона, ночью в движении — холодно от сквозняков, которые продували щелястые стенки. По сторонам железнодорожной насыпи лежали выгоревшие за лето степи, низовой ветер гнал сухие шары перекати-поля, рассеивающие семена, и песчаную пыль. На подходе к Карши эшелон пересек ирригационный канал, и на следующем разъезде мы стояли среди хлопковых полей. Для нас уже привычно горел красный семафор, а полосатый шлагбаум перед железнодорожным полотном был приветственно поднят, однако узкая асфальтовая дорога пустовала. Ждать зеленого сигнала для эшелона можно было часами, так что наша пехота бодро высыпала из теплушек размять ноги, оправиться, еще надо было получить готовый обед в термосах, набрать

кипяченой воды во фляжки. Невдалеке на дороге стоял желтый милиционерский мотоцикл с коляской и грузным милиционером-гаишником, то и дело вытиравшим пот с лысеющей головы и начальственно озиравшим поля. «Не он ли и есть тут главный шлагбаум?» — невольно подумалось мне. У обочины стоял грузовик с высокими сетчатыми бортами, наполовину заполненный хлопком, невдалеке — два пустующих «жигуленка», это и был весь местный автотранспорт на текущий момент. По полю вдоль рядов хлопчатника, сгорбившись, брели десятки людей с подвязанными фартуками, с тряпичными мешками через плечо, в основном женщины, закутанные в платки, мужчин было немного, похоже, были здесь и два водителя припаркованных машин, шел обычный сбор урожая. Один из мужчин подошел в милиционерскому начальнику, показал собранный им хлопок, показал на свои «жигули». В ответ услышал много лишних слов, милиционер пренебрежительно тыкал пальцем в мешок, потом в небо, разводил руками, показывая широту хлопковых просторов.

— Иван, здорово!

Это был Сурепа, его так и звали *Сурепа* все офицеры, включая комбата, да и солдаты за глаза — тоже. Для своих он был своим, а быть начальником у него не получалось: слишком открыт, слишком очевиден.

— Сурепа, и тебе здорово!

— Задолбался пилить по железным рельсам?

— Типа того, уж слишком скучный пейзаж из нашего вагона СВ, а из вашего? — Несколько разменных реплик для начала разговора.

— Аналогично. Кроме саксаула и верблюдов, никакого разнообразия.

— Они дикие?

— Само собой, дикие, какие же еще?

— Я верблюдов только в зоопарке видел и то в далеком детстве.

Подъехал еще один автомобиль, «Иж-комби» вишневого цвета, — полосатым железом-шлагбаумом ему показали, где встать. Водитель достал документы. Гаишник отмахнулся, что-то проговорил, кивнув на пустые тряпичные мешки, лежавшие рядом с ним. Водитель взмолился, показывал какую-то бумагу, ценную, наверное. Гаишник в ответ покачал головой: ему что накладные, что путевой лист — все едино, пожалуй, он и деньги не взял бы. Сегодня главное — план по хлопку, в лепешку расшибись, а хлопок добудь, должно же местное руководство что-то в Ташкент докладывать, а Ташкент должен отчитаться перед Москвой о шести миллионах тонн собранного хлопка-сырца.

— Смотри, сцена для театра миниатюр.

— Знакомая картина. — Сурепов пригляделся. — Каждый год одно и то же. Всех местных подчистую метут, на борьбу за урожай поднимают... Но почему-то в основном достается женщинам. И детей сюда же. Да всех почти. Стариков только не трогают. Даже если кто мимо поля проезжает — за шкуру и на хлопок. Эти трое думали, что проскочат — ха, не угадали. Пока не сдашь двадцать килограммов хлопка, так в прошлом году было, с поля не отпустят. Ты знаешь, что такое двадцать килограммов? То-то же. Хлопок, как воздух, он невесомый. Пока соберешь двадцать килограммов воздуха, уже и солнце на закате.

— А комбайны?

— Хлопкоуборочные? Их не хватает. И после комбайна тоже надо прибраться, вот и прибираются, подчищают до пушинки. Как тебе экзотика?

— Деньги-то им платят?

— Зришь в корень! Вот это и есть вопрос, все остальное — шелуха. За уборочный сезон семья зарабатывает на машину. Так как экзотика?

— Толково. Ты местный?

— Не-е, я из Киргизии. Хотя, как посмотреть. Считаю, что местный.

Эшелон тронулся, чтобы через два часа встать на входе в Карши, дальше ждала Бухара.

В Средней Азии, в каком месте ни окажись, куда ни посмотри — везде древность. Вызывает уважение каждый курган, каждый камень, каждый разрушенный глинобитный дувал, хотя... Хотя дувалы долго не живут. Но что же у них, у нынешних, все так запущено? И потолок в комнатах синие, как двери у лабазов, и хлам всевозможный во дворах свален — не разгребешь, и дети чумазыми бегают... Великая Древность, Согдиана, Селевкиды, Саманиды — все медленно разрушается, превращается в священную пыль. Запомнилось со школы, что Бухаре больше двух с половиной тысяч лет. Само имя вызывает душевный трепет, город-памятник со множеством древних мечетей, мавзолеев, но из всего, что я когда-то видел в учебниках истории и на открытках, в голове осталось только медресе Улугбека. Посмотреть бы... Эшелон остановился напротив железнодорожного вокзала Бухары.

— Из вагонов не выходить! — пронеслось по эшелону.

Вот тебе и медресе Улугбека... Воинский эшелон с незачехленной боевой техникой привлекал внимание пассажиров, столпившихся на перроне, горюжан и обычных зевак, которые ничего подобного в своей жизни не видели. Танки и БМП на открытых платформах стояли на третьем пути, номера на башнях машин хорошо просматривались, вопрос о секретности снимался как-то сам собой. Мы же с гордостью воспринимали любопытные взгляды. Еще бы: мы вооружены, таинственны, как рыцарский орден, у нас впереди серьезные дела. Куда идет эшелон, зачем? Может быть, учения, может, война, кто их знает, этих военных, в газетах не напишут. На подходе были еще два эшелона нашего полка, и стоять нам в крупном городе точно никто не разрешит. Так и случилось, через полчаса эшелону дали *зеленый*.

Следующим утром добрались до Мары, где нас загнали на запасной путь и в довершение отцепили локомотив. Есть на свете три дыры: Термез, Кушка и Мары; вот, значит, где мы теперь. С нами обращались как с металлоломом, мол, постоят, поржавеют — не пропадут. Некий флер от нашей значимости, от важности рассеивался, для железнодорожников мы всегда были обыкновенной транспортной единицей, которую нужно было перегнать из пункта А в пункт Б, точно так же, как тот металлолом. Мимо проходили пассажирские поезда, иногда останавливались, ждали входа на станцию, пассажиры с любопытством все также рассматривали наше железное хозяйство, у нас же появилось время размять ноги, осмотреться. На привокзальной площади много чем торговали: и лепешками, и жареной рыбой, и самсой. У одного туркмена увидел необычно крупные пельмени в алюминиевой кастрюле, проглотил сухую слюну.

— Покупай манты, командир. Недорого.

— Уважаемый, скажи, хорошо бывает недорого?

— Умно говоришь, не понимаю я. Сам смотри, горячие, дымятся.

Вах, покупай, тебе понравится.

— Ну, давай. Попробую, что за манты у тебя.

Попробовал, сделал еще одно открытие Азии. Оказалось, что манты — это не пельмени, что в них много лука и совсем нет мяса, и что туркме-



ны, по всей видимости, такие же аферисты, как и узбеки, в общем, близкие родственники. «Ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех...»

На третий день на рассвете, облокотившись на поперечный брус нашей теплушки, я смотрел в хвост эшелона. Железнодорожный путь изгибался, и последние платформы и вагоны были хорошо видны, была среди них и цистерна с дизельным топливом для заправки боевой техники. Она горела... Через некоторое время во всех теплушках увидели огонь, который постепенно охватывал колесные пары, платформу, лизал срывающимися языками днище цистерны, люди махали красными флажками, руками, но, похоже, машинисты тоже видели огонь. Эшелон заметно прибавил ходу, мы спешили к ближайшему разъезду. Едва состав встал, к цистерне устремились и машинисты, и наши технари...

— Отцепляй! Отцепляй...

Горело по-настоящему. Огромный жгут грязно-оранжевого пламени из люка цистерны с утробным гулом закручивался на высоту пятидесяти метров, распространяя вокруг нестерпимый жар. Крышку сорвало почти сразу, как огонь охватил всю цистерну, облитую с обеих сторон старыми потеками мазута и нефти, ее унесло далеко в пустыню.

— Диверсия, что ли? Вообще-то, похоже.

После маленького побоища в казарме Сурепов испытывал ко мне симпатию и даже покровительствовал, вот и теперь он присел рядом на склон бархана.

— Да ну, это же не кино, — я пожал плечами, не веря ни в какие диверсии.

— Мы — воинский эшелон, понимаешь? И это — цистерна, она единственная в эшелоне. Совпадение? Ты веришь в совпадения?

— Не верю, ну так что? Кому мы нужны?

— Пацан ты еще, Ваня. Думаешь, шпионы и диверсии только в боевиках? В буксе не было масла.

— Вот и вся диверсия, как-то не тянет на заговор. Разгильдяйство, мать ее...

— Почему в буксе не было масла? — Сурепов настаивал. — Потому что масло слили. Эти суки на все способны.

Кого он имел в виду, я догадывался, но уточнять не стал — пусть сам скажет. Мысль о том, что местные могли устроить такое приключение, мне даже в голову не приходила. Наверное, самые худшие мысли приходят последними.

— Это басмачи.

— Ты о чем? — Я как будто сжался от легкого недоумения.

— Иван, ты — военный, рядом граница, с той стороны Иран. Нужно просто понимать, кто ты есть и где находишься. А насчет басмачей... Вы там, в России, о них по учебникам читаете, а мы тут живем.

— Как скажешь, Сурепа.

— Зови Корней, как в метрике прописали, — он протянул руку, и я крепко пожал ее. — И кстати, особист уже отправил радиogramму в Мары, ищут путевого обходчика.

— Корней, прикинь, находят завтра путевого обходчика, а это, как пить дать, окажется русский мужик с похмелья, рабочий класс, одним словом. И с какой стороны на него ни посмотри, на басмача не потянет. Лучше вот любуйся, как коптит! Красиво.

— Любуюсь, за сто метров жарит, как из печи.

— Корней, а ты, правда, ровесник комбата?

— Правда. Что поделаешь, если комбат у нас молодой да ранний, успел и академию закончить. — Он засмеялся. — Кто-то же должен делать карьеру!

— А кто-то — тупить.

— Ты про меня? Я не обижаюсь. Мне предлагали быть ротным. Как подумаю: что-то же надо делать с этой ордой... Орда — самое точное слово. Ее подчинить невозможно, наши порядки, наши правила им смешны. Они все это нарушают, не задумываясь. Понимают только силу и кнут. Я так не могу, характер слабоват, да и нервы никуда. Ну, какой из меня ротный?

— А как же карьера?

— Карьера — не самоцель, она меня сама найдет.

Эшелон двинулся только в ночь, Ашхабад прошли ранним утром, не останавливаясь, рассмотреть город не удалось. И уже к полудню добрались до станции назначения, до Келяты.

Белое солнце пустыни... Кто придумал такое название для фильма? Эти слова медленно выплывали из знойного марева. Какое попадание... В самую десятку, в точку... Не я придумал эту фразу, но эти слова действительно были первыми, что пришли на ум, настолько все вокруг было бело и пустынно. Да и фильм снимали где-то здесь, чуть ближе к Каспию. Стояла удивительная тишина, необычная для железнодорожного разъезда: ни гудка тепловоза, ни стука колес, ни лязга буферов и ни одного путника. Все замерло. И только этот белый, седой цвет всепланетной пыли, осевшей в окружающем пространстве. Белые пристанционные постройки, белые тополя, белая земля — все было припорошено этой белой всепроникающей пылью, матовым налетом, скрадывающим естественный цвет мира. Я вышел из вагона с ощущением, что ступил на поверхность Марса, только там все красное. Впрочем, какая разница, это был мой Марс. Локомотив ушел. Нас и не думали ставить под разгрузку, белый мир безмолвствовал, и только с каждым шагом под толстыми подошвами моих сапог скрипела белая пыль.

Я бродил по окрестностям, не удаляясь от путей, то и дело оглядываясь на эшелон, медленно врастающий в пустынный пейзаж. Если его день-другой не ставить под разгрузку, он тоже станет частью пустыни, чужеродной субстанцией, забытой посреди песков. Постигать было нечего, мертвая песчано-каменистая земля, безлюдье и все то же безмолвие. Поэтому я искренне удивился, когда, повернув за угол пакгауза, буквально наступил на край разостланного под раскидистым карагачем большого туркменского ковра. На нем уютно располагалась компания из четырех нестарых мужчин и пила водку из чайных пиал, раскрашенных бутонами хлопка, закусывая ее горячим рассыпчатым пловом, ломтями дыни, виноградом. Один из них, самый худой, был одет в традиционный халат, тюбетейку и невозмутимо сидел, скрестив босые ноги, остальные, также разувшись, возлежали на ковре в полусонных позах, чем-то похожие на ленивых восточных владык, султанов. Стояла внесезонная туркменская жара, и у меня невольно перехватило в горле, обожгло, как будто это я только что сделал глоток теплой водки, а не тот крупнотельный туркмен с выбритыми щеками. Водку он пил как чай, неторопливо, маленькими глотками, смакуя. И от того, что по моему лицу ползло удивление, его лицо все больше расплывалось в радушной улыбке.

— Извините, — я неловко отступил с ковра.

— Заходи, командир! Садись, раз пришел, гостем будешь, — туркмен продолжал улыбаться, он был постарше других, лет пятидесяти, и теперь, сев прямо, чуть наклонился в мою сторону, протягивая пиалу. — У нас обед, у тебя обед, вместе пообедаем, поговорим.

— Спасибо за приглашение, уважаемый.

— Давай, командир, не стесняйся, садись. Как у вас говорят — в ногах правды нет. Мой дастархан — твой дастархан, — он приложил руку к груди. — Кушать будем, водка пить будем, говорить будем. Нельзя проходить мимо, никак нельзя.

Под околышем полевой фуражки накапливался пот, ремень португепи неприятно сдавливал грудь — форма привычно подменяла содержание. Посидеть в тени раскидистого карагача, расстегнуть ворот кителя, подставить шею ветерку — это ли не соблазн, а я искал убедительный повод, чтобы отказаться. Убедительный и для них, и для себя.

— Дела, уважаемый, дела, — я тоже приложил руку к груди, хотя в отличие от чистосердечия хозяина я играл, лукавил, в общем, лицедействовал. — Не могу.

— Зачем дела? Хорошо отдыхаешь — хорошо работаешь. Плохо отдыхаешь — плохо работаешь, — он с сожалением покачал головой.

Я показал рукой в сторону замершего эшелона, пожал плечами в последней попытке оправдаться. Никогда еще я не отказывался от водки так поспешно, но в такую жару мне еще никогда и не предлагали выпить. Впрочем, дело было в чем-то другом. Я не знал их, не знал, как себя вести, не умел с ними говорить, да и о чем говорить с туркменами, живущими на самом краю света посреди океана Каракумов? Молодость близорука, я мог бы почувствовать их интерес, они хотели разговора, хотели узнать, кто я такой, раз приехал в их забытые Аллахом края, забытые настолько, что он перестал запрещать им употреблять греховную водку и даже сделал ее сладкой. Они были готовы читать меня, как новости из свежей московской или ашхабадской газеты, одобрительно цокать языком, качать головой, а я видел в них только обитателей заброшенного полустанка. В мире ничто не случайно, и если ты наступил на чужой ковер, то будь добр, расскажи, как здесь оказался, откуда ты родом, как сам, как семья. Четыре пары темных глаз с любопытством оценивали меня, ждали продолжения, видя во мне очередного пришельца из далекой холодной Москвы, бледнолицего командира, начальника. На то она и Москва, чтобы присылать начальников. Разгорячившись, они собирались спросить, почему мир устроен так несправедливо, почему они, важные люди со станции Келята, часть огромной страны, так никогда эту страну и не узнают, не поймут... Я выставил вперед руку, защищаясь от пиалы и пытаюсь объяснить, что в полдень пить водку еще рано. А они хотели просто поговорить.

Прошло два часа, на станции о нас, об эшелоне не вспоминали. Офицеры батальона играли в карты, по второму кругу расписывали «кинга», разомлевшие солдаты дремали в теплушках. Вот уж действительно, солдат спит — служба идет... Черт те что... То гоняешь их до седьмого пота, а тут даже кузнечики не стрекочут, ветерок не шелестит. Я пошел дальше бродить по станции: откуда-то взялась привычка изучать обстановку, вникать в детали, в общем, всегда надо быть готовым к любому действию, ничто не должно застать врасплох.

Среди прочих пристанционных построек нашелся и маленький магазинчик. Осторожно скрипнула дверь, пропуская меня в полумрак и отсекая от полуденного зноя. Уже лет сто как толстые кирпичные стены с узкими окнами под потолком берегли здесь мировую прохладу. Я невольно прикрыл веки, здесь начинался другой мир.

— Э-э, кто там? Не держи дверь открытой, — долетел голос из подсобки.

— Зашел посмотреть, что тут у вас.

— Нечего просто так ходить, воздух гонять, покупать надо... — Наконец, из подсобки появился хозяин лавки.

Я огляделся, давая глазам привыкнуть. Это был парень чуть постарше меня, в джинсах, в рубашке навыпуск, высокий, симпатичный, нагловатый, в общем, с перспективой. Назвать его продавцом язык не поворачивался.

— А-а, лейтенант! Добро пожаловать в мой магазин, лейтенант. Все для народа, — он широко развел руки, — все для командиров.

«И этот служил, — невольно подумалось мне, — интересно, он на гаптвахте сидел?»

На широком, длинном прилавке, заменявшем в магазинчике торговую витрину, красовались бордового цвета зимние полусапожки на толстой подошве. Я повертел их в руках, втянув ноздрями запах новой кожи, пощупал мех, прочитал надпись на подошве — югославские, мой размер. За такими в Москве очередь в колонну по два и длиной в квартал, а здесь — я бросил взгляд себе за спину — а здесь я один среди тишины, старой пыли и странного ощущения средневекового колдовства. Зачем они здесь при тридцатиградусной жаре? Денег я с собой на учения не брал, поэтому безбородый «колдун», стоявший за прилавком, мог наслаждаться моими муками, впрочем, парень на меня не смотрел и этих самых мук не видел. Рядом с обувью, невпопад, были выставлены консервные банки разного калибра, среди них бросались в глаза плоские банки с кольцом и с надписью на непонятном, то есть не русском и не английском языке.

— Что это?

— Это? Португальские сардинки, ну, это как наши шпроты, только крупнее. Что, не видел никогда?

— В диковинку.

— Типа того. Вот в прошлом году ящик испанского портвейна завезли, одну бутылку всего продал. Может, возьмешь? — Он поднял глаза к верхней полке, где в пыли, в паутине стояли те самые импортные пузатые бутылки.

— Сколько?

— Восемь рублей, — он сощурил глаз, глядя на мою реакцию. — Слабо?

— Слабо, не слабо — коньяк столько стоит. Я лучше токайского возьму, — положив на прилавок «трешку», я стал ждать, пока полный достоинства продавец принесет мою покупку.

— В моем магазине «Токайское самородное» стоит пять рублей.

— Не может быть. Его цена три рубля.

— В моем магазине — пять.

— Что ты заладил: «В моем, в моем»? С чего ты взял, что он твой?

— Мой отец договорился в райкоме; кому надо, дал *на лапу*, и теперь я здесь заправляю, здесь все мое, — он самодовольно приподнял плечи, удивляясь, какой я непонятливый.

— Как это договорился? У вас что здесь советской власти нет?

— Вот моя советская власть! — Продавец, молодой симпатичный туркмен, тот, что с перспективой, неторопливо достал из-под прилавка толстую, в два пальца пачку *четвертных* и долго со значением и гордостью тряс ею перед моим носом. Мимика его лица при этом менялась от полного восхищения собой до презрения по отношению ко мне...

В Термез вернулись через три недели. Открыл дверь в нашу комнату, а там пустота и мое одиночество. Вещи — это просто вещи, символы оставившейся вчерашней жизни, они лежали на тех же местах, что и при отъезде; время замерло, иногда это чувствуешь остро, до боли, а если недели стали бы годами? На всем лежал бы годовой слой песчаной пыли с предостережением: не тронь меня — я древность. Постоял у помутневшего окна, поставил пластинку на наш дешевенький проигрыватель. «*Старинные часы еще идут, / старинные часы — свидетели и судьи...*» Или свидетели, или судьи — часам надо определиться. За два месяца я привязался к своей юной жене, ее присутствия мне не хватало. Да, грустно быть одному: вроде бы дома, а руки ни к чему не прикладываются. На учениях было весело, делом занимались, совершили рейд по хребтам Копетдага, ночевали в горах, удалось даже из «Шмеля» выстрелить, интересный огнемёт.

Как будто улавливая мою неустроенность, разобщенность с самим собой, вызвал к себе комбат Геворкян.

— Ты, между делом, один, жена на сессию укатила?

— Так и есть. — Я непроизвольно пожал плечами.

— Вот и отлично. Оформляй командировку в Курган-Тюбе, в автомобильную учебку. С тобой будет еще лейтенант из третьего батальона — Самохвалов.

— Кто старший?

— Как кто? Ты из второго батальона — ты и старший.

В России, на Украине городок с населением в шестьдесят-семьдесят тысяч был бы районным центром, а здесь — третий по величине город во всей республике. Это все, что я знал о Курган-Тюбе до командировки, и еще что там живут таджики. Как они живут, ощущая себя такими малыми, зажатыми среди высоких гор?

Задача перед нами стояла несложная: забрать из учебной части водителей, молодое пополнение, отслужившее там три месяца, и доставить его в Термез, на границу. Дальше солдатикам предстояли долгие дороги Афганистана: серпантины, перевалы, а с ними фугасы, засады, но я об этом еще ничего не знал. Мы с Самохваловым прибыли в часть на день раньше, с запасом, курсанты только что сдали последний экзамен по вождению автомобиля, инструкторы оформляли ведомости, удостоверения о пройденном курсе обучения, в местной ГАИ солдатам выписывали водительские удостоверения. Командир, встретил нас буднично, чаю не предложил, но зато отправил устраиваться в гостиницу.

— В общем, вы пока погуляйте, осмотритесь. Гостиница здесь одна, так и называется «Курган-Тюбе», как раз для командировочных, в кино сходите, два месяца назад исторический музей открыли, там можете побывать. Завтра в три часа жду, зачитаем приказ по части о завершении курса обучения. Примите документы и личный состав. И — вперед!

Станный город, настороженный, но сонный, мне он таким показался с первых минут. Чего ожидать от Азии? Здесь все должно быть странным,

другой мир, воистину другой, но понять это за три коротких месяца я еще не сумел: между казармой и полигоном времени для открытий не оставалось. Зеленый город дышал свежестью с отрогов Гиндукуша, это его отличало от равнинного Термеза. Над городскими оградами возвышались крепкие стволы грецкого ореха с небурными плодами под ними, по улицам бесцельно бродили молодые люди в полосатых сатиновых халатах с подвернутыми рукавами, в черно-белых тубетейках. И только типовая гостиница в четыре этажа нерасторжимо объединяла Курган-Тюбе с десятками других городов по всей стране. В мире все странно, с чем сталкиваешься впервые, и этот мир можно открывать каждый день, если в голове копошится голодный червь познания. Бросив кейсы-дипломаты в гостиничном номере, мы отправились познавать мир, в нашем случае — центр города с обязательным восточным базаром, где торговля не замирает ни днем, ни ночью.

— В какую сторону пойдём, Иван? Ты старший, командуй.

— Хватит ржать, Ромчик. Я тут ориентируюсь не лучше твоего. Одно могу сказать точно: в музей на пустой желудок не ходят.

— Сейчас разберемся, подожди, — Самохвалов остановился, pokrutil головой, подозвал к себе проходившего мимо парнишку и что-то спросил у него неведомыми мне словами, но тот все понял, ответил и показал рукой вдоль улицы.

— Ты знаешь таджикский?

— Так, немного. Я знаю азербайджанский, а другие — приложение.

— Какие такие — другие?

— Ну, турецкий, туркменский, узбекский, казахский...

— Откуда? — Мир открывался мне совсем с другой стороны, откуда я не ждал.

— Долго объяснять. А если коротко, мои родители — филологи, а родом я из Баку. Логическую цепь прослеживаешь? Жить среди аборигенов и не знать их языка? Это может дорого стоить.

— А что ты спросил?

— Где тут можно поесть...

Как оказалось, поесть можно было на площади у железнодорожного вокзала, к шести вечера там готовили плов с изюмом и барбарисом.

Странный город. Если здесь жить, то по вечерам молодым людям и податься некуда, а что делать приезшему?

— Вань, вот о тебе и не подумали при застройке города. Что будет делать вечером лейтенант Платов, когда приедет в достопримечательный со времен Чингисхана город Курган-Тюбе?

— Опять ты меня подкальываешь, я уже усвоил, что Азия — это средоточие мировой древности.

— Все ты знаешь, я не сомневаюсь. Но ты не знаешь, насколько глубока эта древность. Европейский человек сильно изменился за прошедшие столетия, особенно за последние лет тридцать. Личная свобода плюс законы, которые его защищают, еще эта тяга к маленькому семейному счастью. Я ничего не упустил?

— Я заинтригован, продолжай.

— А восточный человек... — Самохвалов выдержал длинную паузу. — Восточный человек не изменился, он все так же служит своему хозяину. Вот это и есть древность.

Мы шли по одноэтажному городу мимо все тех же глинобитных и кирпичных оград двухметровой высоты, за которыми горожане прятали свою мусульманскую жизнь. У нас-то в России ничего особенно не спрячешь,

малые оградки да низкие заборы с редким штакетником, тропинки, выложенные красным кирпичом, палисадники с ноготками и маргаритками — все на виду, все нараспашку. Вот и мальвы поднялись выше ограды, выглядывают на улицу, спелые черные вишни задевают головы прохожих, малина лезет сквозь штакетник, а на окнах домов красуются белые резные наличники, рассказывая всем, что люди здесь живут в достатке, хозяйствуют. Здесь был другой мир, наглухо закрытый от посторонних глаз, таинственный, и уж что-что, а достаток здесь скрывать умеют. Обрывая мои размышления, из ближайшей калитки вышла полная женщина в темной одеянии, с тюбетейкой на голове вместо платка, посмотрела на нас мельком, как на пустое место, и выплеснула на улицу помои.

На привокзальной площади, на высоком помосте, как на театральном подиуме, шло настоящее действие. Повар, невысокий таджик, совсем мальчишка, вооруженный деревянной лопатой, возвышался над огромным чугунным казаном. На мой неискушенный взгляд этот казан был емкостью эдак литров на триста, и под ним яростно пылали дрова. Мы зашли на привокзальную кухню как раз в тот момент, когда повар ведрами засыпал в казан, в кипящее варево влажный, разбухший рис. Какое-то время окружающие нас таджики терпеливо ждали; уж им-то известен весь путь плова от первого куска курдючного жира до последней головки чеснока. Рис продолжал набухать, пропитывался вкусом баранины, моркови, лука, набирал сладость изюма и легкую остроту зиры, надо было немного подождать. Спустившись с помоста, повар поколдовал над огнем, вернулся, приподнял крышку и, закрыв глаза, осторожно вобрал в себя воздух. Мне показалось, что он чуть застонал от удовольствия. Опустив на казан крышку, парень выставил на обозрение пять растопыренных пальцев. Ага, ждем пять минут.

Ну, вот и началось. Повар хлопнул в ладони, открыл крышку казана, а сам стал подобен гимнасту, настолько точными и сильными были его движения. Неутомимой бабочкой он летал по помосту, перемешивая в казане плов, то взбивая его, как сливки, то разравнивая ближе к горячим стенкам, и при этом он успевал заглядывать под днище, чтобы подбросить заготовленные сосновые бруски, или наоборот, приглушить не в меру жаркий огонь. Наверное, он был еще и поэтом, поймавшим птицу вдохновения. Наконец, с огнем закончили, он медленно угасал в тлеющих поленьях. Сладкий, чуть пряный запах созревающего плова волнами плыл по всей округе, собирая вокруг себя все новых оголодавших гостей, как мотыльков на яркий свет. К положенному сроку они заполнили все привокзальные лавочки, низкие чугунные оградки, на которые можно было присесть, расположились на траве, скрестив ноги или просто на корточках, похоже, что на плов здесь собирался почти весь город, и как всегда, это были только мужчины. В очередной раз, втягивая в себя сладкий дух таджикского плова, сглатывая сухую слюну, я подумал, что совершенно не умею его готовить и даже не знаю, с чего начинать. Между тем время приближалось к восемнадцати-ноль-ноль, до подачи к перрону ежедневного поезда на Москву оставалось чуть более сорока минут.

Ранние звезды уже заглядывали в окно гостиничного номера, ложиться спать мы не торопились, ужин был хорош...

— О, Баку! Красивый город, каких поискать, город-сказка, мечта. Пальмы, море, набережная с фонарями. Ну, немного нефтяные вышки пальмаже портят, — Самохвалов от души рассмеялся.

— Русских много?

— А-а, вот чем ты интересуешься. Много-немного, не важно. Баку — город торгашей и космополитов, армян и евреев. Что у тебя есть? Что можешь достать? Какие у тебя связи? Вот что важно. Русских хватает, куда без нас — инженеры и работяги или, как моя семья — прослойка интеллигенции.

— В общем, ты не смог правильно ответить на бакинские вопросы и оказался в армии, — теперь смеялся я.

— Ладно, поймал. Сдаюсь. Отец у меня партийный и все такое... Хотя бы в нефтянке работал, а то так, в управлении образования. У него героическая трудовая биография, чистая анкета, а я — часть его анкеты, офицер. Он мне и насчет Афгана намекал, мол, для военной карьеры было бы неплохо. Но тут мама встала в позу, объяснила и на русском, и на английском, что она о нем думает. Кстати, мама, — Самохвалов со значением понизил голос. — На бакинские вопросы отвечает правильно, жаль, что не она главная в нашей семье.

В кинотеатре «Фароз», единственном в городе, сегодня шел индийский фильм «Зита и Гита», в Средней Азии его крутили уже несколько лет и, странным образом, судя по нахлынувшей толпе зрителей, он не надоел. Я его смотрел раньше, помнил содержание, но надо было как-то убить время... Большой зал мест на триста в десять часов утра был полон. Тюбетейки, тюбетейки, тюбетейки... Когда пошли титры и самые первые кадры, зал всколыхнулся, послышалось шуршание халатов, дыхание зрителей, гул, как будто это был футбольный стадион, и шел матч душанбинского «Памира». И тут в минуту всеобщего предвкушения я понял, почему этот город показался мне странным — в нем совершенно не было женщин. Совершенно — значит, ни одной. Весь зрительный зал на утреннем сеансе был забит мужчинами. И свободных мест не было, ясное дело — сегодня кинотеатр выполнит план, а директор при такой заполняемости зала получит и квартальную, а там и годовую премию.

После сеанса на улицах опять были только парни и мужчины, все те же компании бездельников, что и с самого утра. Пока мы шли по центральной улице к учебному центру, они диковато оглядывались на нас, словно никогда не видели русских офицеров, инородцев — на их взгляд, а может, и негров — тоже на их взгляд. Может быть, они хотели потасовки и ждали, когда мы дадим повод? Но случайно, оглянувшись на Самохвалова, увидев холодную усмешку в уголках его губ, я понял, что вопрос стоит иначе. Он родился в Азии, ему было лучше знать, какие здесь в ходу манеры и кто здесь настоящий хозяин. После вчерашней вечерней беседы я тоже догадывался, что хозяин тот, у кого власть и лавэ. Кто бы придумал другое... Кстати, в конце фильма Зита и Гита нашли друг друга...

Очень далеко от Москвы, в самых предгорьях Памира, в казарменном коридоре они стояли вшестером в белом нижнем белье, щуплые, невзрачные, жалкие, они тянулись, старались выглядеть мужественнее. Шестеро молодых солдат, которых не взяли в Афганистан. Причины разные — суть одна: они оказались недостойны высокой чести. Я взглянул на свои часы на кожаном ремешке, уже полчаса как прошел отбой.

— Товарищ лейтенант, мы тоже имеем право. Чем мы хуже других?

— Чем лучше?



— Мы хотим служить в Афганистане.

Отправить бы их спать, чтобы выбросили из головы всякий мусор. Я смотрел на солдат, готовый выслушать их аргументы, но чувствовал, что аргументов не будет. Этих ребят не включили в список для отправки на войну, на которую им зачем-то надо было попасть, и я хотел понять — зачем? То, что им повезло, до них еще не доходило. Они пыжились, хмурили брови, говорили умные глупости о долге и чести, так что закладывало уши. Что они могут знать о долге в свои восемнадцать лет? А если погибнут? Что будет с их родителями, когда придет похоронка; кто позаботится о них, когда они состарятся; кто положит цветы к их надгробиям, когда они уйдут? Вот главный долг, сынки, о котором вы не думаете! Я смотрел им в глаза, пролистывал свои мысли и удивлялся, что это мои мысли, потому что сам я никогда не думал о долге перед родителями, перед своими.

— Все курсанты в команду по оценкам отобраны.

— Так и правильно!

— Но причем здесь оценки? Это Афган, там характер нужен. Возьмите нас, мы готовы!

Солдат, по виду кавказец, с жаром доказывал недоказуемое, брал за горло, наверное, это он подбил других, и они поддались. Вернется такой в свой аул, а там семья с дедом-ветераном в орденах встречает дембеля, мол, расскажи, внук, как служил, а ему и рассказать нечего, кроме как молодых гонял.

— Ребята, так не бывает. — Я развел руками. — Зайдите в канцелярию.

Сто комплектов готовых документов лежали в моем дипломате, сто бойцов, снятых с довольствия, были готовы отправиться *за речку*, так что эта шестерка в белых кальсонах хваталась за соломинку.

В шкафчике у командира учебной роты нашелся электрический чайник, кружки, и мы заварили и разлили чай на всех.

— Вы что, парни? Вы о чем? С головой все в порядке? Афган — это война, настоящая, а не картонная. Ну? Понимаете? Война...

— Что они там понимают? У них в заднице пионерская зорька играет. Кино про героев насмотрелись.

— Но это наш выбор, — кавказец не слушал Самохвалова и в упор посмотрел на своих товарищей.

Пока я высказывал вслух очевидные для всех вещи, внезапно осознал, что эти солдаты большие патриоты, чем я, они покусились на то, о чем я и не помышлял.

— Мы не можем по-другому, — они переглянулись, они не были уверены в себе, может быть, даже трусили, но никто не хотел в этом признать — с я и уж тем более отступить.

— Ага, хозяйева своей судьбы, — усмехнулся Самохвалов. — Богу богово, кесарю кесарево. Как командир скажет, так и будет. Ясно?

Сопровождение до афганской границы команды из ста солдат, только что закончивших учебную автомобильную часть, не требовала от нас особых усилий, солдаты были придавлены ответственностью перед страной, перед своим будущим, они вдруг стали взрослыми и нас, офицеров, не замечали. Каждый из них ехал в Афганистан добровольно — так было сказано в стандартных расписках, которые они вчера отважно подписали. На миру и смерть красна, и подпись было ставить легко, а каким будет похмелье, никто не знает. Я вез эти расписки вместе с другими документами.

Сосредоточенные лица, тоскливые взгляды, брошенные за окна вагона, подсказывали, что молодые бойцы уже примерили к себе все грядущие испытания и даже осознали их неотвратимость. Там, за толстыми стеклами, среди заснеженных хребтов и зеленых долин предгорий Памира, среди кишлаков и абрикосовых рощ протекала чужая мирная жизнь. Чужая — мирная — жизнь. Странное сочетание, в котором каждое слово главное. Какие мысли выплескивало их сознание, пока поезд стучал на рельсовых стыках? Об Афганистане они почти ничего не знали, оставалось только мечтать, ну хотя бы о крутобедрых восточных красавицах, о гуриях, укрытых паранджой. Солдат спит — служба идет, солдат едет — служба опять идет, солдат уже бежит, а служба, как обычно — неторопливо идет. Отдохни солдат, впереди будет все, что угодно, только гурий не будет.

На вокзале Термеза нас ждало несказанное удивление. Пока мы с Самохваловым выстраивали в две шеренги наш доблестный личный состав, проверяли его по спискам, к нам, к нашему строю, быстро подошла, почти подбежала нестарая женщина с тяжелой сумкой в руках, одетая по городскому. Она с тревогой заглядывала в лица солдат, проходя вдоль длинного строя, пока один солдат не воскликнул с удивлением, почти с испугом:

— Мама!?

— Сыно-ок!

Солдат, смущенный всеобщим вниманием, не знал, как себя вести, куда деть длинные руки, его лицо горело. Мать после недолгого замешательства бросилась к сыну на шею, пряча ото всех мокрые глаза.

— Обними мать, дурила, — негромко бросил кто-то из строя.

— Мама, что ты делаешь? Мы же тут... мы все вместе.

Он был рад встрече, но страшно смущен, неловок, не хотел показать свое детское счастье, во всем его неловком облике отражались мятущиеся чувства, они волнами накатывали на неокрепшую психику, не в силах сохранить первые солдатские тайны.

— Я знаю, сынок, вы тут все вместе... Я успела...

Лицо матери искажалось, по нему вот-вот должны были хлынуть слезы, но она держалась, чтобы не опозорить сына. Никто над ними не потешался. Любопытные глаза, завистливые или сочувственные, не отрываясь наблюдали за естественным проявлением материнской любви. Все молчали. Наконец, мать увидела меня, командира, и бросилась ко мне.

— Товарищ командир, товарищ командир, можно вас попросить... Только один час, хотя бы один час побыть с сыном, здесь есть гостиница... Я там... у меня номер...

— Мама, вы что?!

Сыну было стыдно за мать, за ее слезы. Он не заметил, как такие же слезы набухли в его собственных глазах.

— Да что за армия такая! — Скрежетал зубами мой напарник Самохвалов. — Детский сад какой-то. Откуда она узнала?

— Какая теперь разница.

— Товарищ командир, ну хотя бы полчаса, — она взмолилась, как молятся только святым, поднимая к небу глаза, готовая упасть и на колени, чтобы стать еще ниже. — У меня один сын, у меня больше никого нет.

Я оглянулся на напарника, ища и объяснений, и поддержки.

— У нее истерика, — сказал он негромко, приблизившись ко мне. — Она может сбежать вместе с солдатом.

— Да брось.

— Ты хочешь проверить?

— Мамамочка, как вас?..

— Елена Николаевна...

— Елена Николаевна, у нас нет в запасе так много времени. Здесь, на вокзале, есть комната отдыха. Не больше пятнадцати-двадцати минут.

— Я поняла.

— Рядовой Шевченко! Через двадцать минут — в строю! Вперед!

— Есть! — Солдат бросился к матери, уже никого не стесняясь, и девяносто девять пар глаз с нескрываемой завистью смотрели ему в след.

Я отвернулся. Не хотел видеть, как встретятся освобожденные души, не хотел завидовать чужому мимолетному счастью. А что ему завидовать? Оно же мимолетное, пролетающее мимо, как синяя птица, лишь слегка коснется крылом, обнадежит и упорхнет. А что случится с этим юным солдатом дальше? У него будут два года испытаний, и два года мать будет ждать его возвращения с войны, корить себя, все ли она сделала, чтобы его спасти. Мать! Она сделала все, в ее руке, которую минуту назад она тянула ко мне, был зажат маленький алюминиевый крестик на простом, ненадежном веревочном шнурке. Сколько же в нем было слез и мольбы...

Афганистан... Легкий холодок пробежит по спине; вот он, рядом, ощутимый, как дыхание чужого степного ветра. Там война. Все мы немного авантюристы, ищем приключений, вот потому и ментоловый холодок, ожидание бодрит — нет, это ветер бодрит, холодный, пронизывающий. Окна моей служебной квартиры выходили на южную сторону, а значит, каждый раз, когда я смотрел в окно, я смотрел в Афганистан. Он гут, рядом, пара километров, вот и граница. Где-то у горизонта голая зимняя степь, пустыня, это уже чужая страна, какая она? Ребята с той стороны с колоннами приходят на день-другой. Все какие-то странные, все пьют, поговорить бы... Да, с ними поговоришь, смотря оценивающе, с прищуром, с насмешкой что ли... Как там, что? *Да, нормально, мужики, духов мочим, а они нас.* Далее обычно следует легкое ржанье... *Да сам узнаешь, куда ты денешься.* Вот он, Афган, под боком.

Под боком. Я стою на балконе, смотрю вдаль, однажды и я пересеку границу, эту мистическую черту и растворюсь в иной жизни. В войне. Я редко открываю дверь на балкон. Пыль, эта жуткая марсианская пыль, мелкая, красноватая, она с ветром-афганцем проникает всюду, ложится тонким слоем на пол, на постель, на посуду, скрипит на зубах, никакие затворы не спасают. Сегодня я стою на балконе, набросив на плечи шинель, и смотрю, как там, вдалеке, горит трубопровод. Это — за границей, у Хайратона, духи подождли. Весь Термез смотрит на этот коптящий огонь с замиранием сердца, война приближается, огонь — это и есть война..

Я смотрю сверху на огромный окружающий меня мир, как будто я птица, вижу пустыни, горы, нитку трубопровода, где-то за далеким горизонтом горят кремлевские звезды, там отдают команды, но те, кто отдадут команды, не могут за них ответить, и с них никто не может спросить. Что я тут топчусь на балконе? Хочу взлететь? У меня другие крылья, как у сокола-сапсана, сложенные для удара по цели, для выполнения приказа. И нет другого исхода. Чтобы что-то изменить, нужно созреть, самому прийти к исходу, самому стать тем, кто отдает приказы.

Время — как расстояние, как путь, его надо пройти. Или иначе — его надо постичь. И только один вопрос скрывается где-то в подкорке: какой тебе выпал путь? А что, ты думаешь, выбирал сам? Да, пытался, даже осмелился взять непосильное. На самом деле, есть предложения, от которых никто не может отказаться, и ты не смог... Где-то в небесах тебе аплодируют, твой путь труден, но чем труднее путь, тем мудрее путник к концу пути, а ты думай о себе, что хочешь. Гордись...

- Мужики! Приказ пришел! Через три недели Афган.
- Задолбали, всех под гребенку метут.
- Значит, не ввали.
- Да, ладно, что удивляться. Рано или поздно — итог один. «Мы выходим на рассвете, над Баграмом дует ветер, раздувая наши флаги до небес...»
- Так что? Баграм?
- Все может быть.
- С понедельника — полигон. Комплектоваться будем.
- Полк разворачивают?
- Нет, там другая схема, на нашей базе разворачивают мотострелковые батальоны, а следом за ними десантно-штурмовой батальон. Офицеры — из Азадбаша, пехота — со всего округа.
- Откуда информация?
- Из надежного источника, проверено.
- Мужики! В субботу айда в Новбахор, погуляем напоследок, отовремся!..

Призыв был услышан. Все узбеки куда-то пропали, обычно их в ресторане много: торгаши с местного базара, с ярмарки приходят покушать после прибыльного трудового дня, похвастать своей мошной. Да они и гулять-то толком не умеют, закажут себе водку с бараньим пловом и сидят, борды поглаживают жирными руками, а если напьются — начнут к русским девкам приставать. Разве это гуляние? Так, кислый ужин... Сегодня, кажется, здесь весь мотострелковый полк собрался, вот это будет весело, по-настоящему. Тема понятна.

Гремела музыка, сверкали кожаные подошвы, у горячих военных парней между лопаток стекал пот. Со мной рядом сидел Джавид из третьего батальона, душевный человек оказался, хорошо мы с ним поддали, обниматься начали, поднимали тосты за дружбу народов. Я его все хотел спросить про Баку, да так и не смог. С чего наша компания принялась танцевать сиртаки, не знаю. Все были пьяные и веселые, все офицеры, раскинув руки, встали в большой круг, обнялись и давай под оркестр отплясывать. Все были уверены, что это сиртаки и есть. И ничего, очень хорошо получилось, весело. Жена все дергала меня за рукав, чтобы я вел себя прилично, она так и не поняла, что она здесь лишняя. Бабы зачастую ничего не смыслят в делах своих мужиков, совершенно ничего, думают, что они всегда главные, как на кухне. Но приходят и трудные дни, когда главными становятся мужчины. Наконец, забрав бокал шампанского, она примкнула к своим подружкам в глубине зала, оставив меня с друзьями. Водки выпили немеряно, да вроде как и повод был стоящий, хоронили-таки мирную жизнь. Афган, ребята, Афган, повеселимся! Троекратное: ура! ура! ура-а!

За соседним столиком сидел Володя Александров, как всегда, не один — с юной девой с распущенными волосами и глазами русалки. Обычно он не пропускает ни одной юбки, сегодня та же история, и что они в нем находят? Он, конечно, красавчик, но вылитый монгол, а впрочем, душа нараспашку, выходит, русский.

— Эй, Охотник, как дела?

— Не спугни удачу, братка.

— Кто на этот раз?

— Корейночка, смотри, какая ладненькая, — он приобнял сидевшую за его столиком робкую на вид девчонку, действительно не похожую ни на одну узбечку. — У меня корейночки еще не было.

Я смотрел на нее с удивлением, потому что корейцев (и китайцев заодно) видел только по черно-белому телевизору, и думалось мне, что живут они на самом Дальнем востоке.

— А все остальные?

— Э-э... Пройденный этап. Хочу всех попробовать.

— Ну-у, ты гурман.

— Можно и так сказать, но через женщин к мужчине сила приходит, а мне сила нужна. Вот черненьких нет в Термезе, жаль.

В его приглушенном, мягком голосе действительно прозвучало сожаление, — до Африки далеко, да и как туда попасть? Если только советником в Египет или в Анголу завербоваться, так когда это будет?

— Может, за речкой есть?

— Негритяночки? А что, может, и есть, придется рискнуть. Они, должно быть, зажигательные. В них самая большая сила. У-ух, южная кровь!

— Ага, кровь, у тебя сейчас кровь наполовину с водкой.

— Кто знает, когда еще так повеселимся? Лови момент!

Подошел ротный, месяц назад прибывший в полк из Афганистана, в его красных нетрезвых глазах веселья не было, в них ничего не было, а к складкам губ приклеилась дурацкая ухмылка.

— Веселитесь? Первая заграникомандировка? Тогда тост. Наливай, летеха. Ну, даст бог, чтоб не последняя, — он опрокинул в себя водку, не дожидаясь, когда мы стукнемся рюмками, в горле у него что-то отрывисто заклокотало, похожее на приступы смеха, но глаза так и остались пустыми.

— Даст бог, командир, — я неловко пожал плечами. — Вот гуляем, чем не повод?

— Война, мать ее... — всегда хороший повод... — Его зрачки уперлись в меня, и взгляд ненадолго стал осмысленным. — Бог даст, он не жадный — он милосердный, если ты его признаешь. А вот сумей взять! Держи голову холодной, летеха, все остальное приложится. Эх, пиррова гулянка... Прости ты нас грешных.

— Ты хотел сказать, пиррова победа.

— Поучи меня, сынок, — не оборачиваясь, он пошел сквозь отплясывающую толпу к своему столику, где его ожидал полупустой графин с водкой и одинокая опрокинутая стопка.

— О чем это он?

— О ком, братка, о ком. О нас с тобой, — Александров вдруг порывисто обнял меня. — Молитесь, чтобы с нами ничего не случилось. Разве не чувствуешь?

— Странно как-то. Он же пьяный в ноль.

— Как умеет, так и молится.

— Что мы там будем делать? — Я попытался перевести разговор на другую тему.

— В Афгане?

— В Афгане, где же еще? Нас же вводят под какую-то конкретную задачу.

— На месте разберемся, а задача одна: помериться мускулами с янки. Они, суки, везде, они повсюду, расползлись по миру, как проказа.

— Причем здесь американцы?

— Они всегда причем, думают, что они самые крутые. Их уши отовсюду торчат. Не так, что ли? Вот бы навалить им.

— И навалием, — я расплылся в глупой улыбке. — Все повторяется, все возвращается на круги своя. Так ведь? Раньше был Рим, был Карфаген — две державы, два врага.

— Ну? И кто теперь Карфаген? Впрочем, не важно, — он пьяно закачался. — Карфаген должен быть разрушен.

Спал как убитый — ни снов, ни миражей, наверное, таким и должен быть переход из Вчера в Завтра, короткий, длиной в одну ночь. Что там будет с Джавидом? Мы так здорово отплясывали вчера. Что будет с Охотником? Вдруг и правда в Афганистане есть негритянки? Что будет с ротным после всех его командировок? А что со мной? Разве узнаешь, когда даже сны не снятся. Вот и все, мы свое отгуляли. Весело было, так весело, что поутру ощущалась нехватка памяти, и хотелось пить прямо из-под крана, а уже в следующий понедельник, на рассвете батальоны двинулись на полигон. Учения, ясное дело. Жизнь — она и есть одни сплошные учения. В мирное время — готовься к войне, в войну — отработывай, отгребай, после войны — будь на страже. Неразрывная цепь военных времен и военных событий, диалектика. Что там дальше согласно диалектике? Жена в последние дни как будто с ума сошла, то плачет в истерике, как над мертвым, то падает на меня белой грудью, целует, не переставая, никогда такой страстной не была. *«Старинные часы еще идут... Амуры на часах сломали лук и стрелы»*. А ребенка у нас так и нет, наверное, потому что слишком часто в душ бегала. Дура. Хотя, что я говорю, меня же не убьют, не может такого быть! Еще поживем, настругаем ребятишек, еще успеем. Не до того сейчас. Голова забита всякой ерундой, сказать, что войной — не точно. Я не знаю, что такое война.

### Эпизод 3.

## ЗНАК СТРЕЛЬЦА

Течение жизни — все, что у нас есть. Пока тебя несет потоком, ты жив, ты в строю, это твоя Река... И если впереди пороги, ты должен их взять — другого не дано.

Течение жизни — больше, чем слова. Сердце Платова замирало в предчувствии завтра: где-то там скрываются открытия, равные Колумбовым, чужие земли, чужие люди, несметные сокровища Древнего Востока. Любопытство ломало все преграды, а стабильное давление сто двадцать на семьдесят подсказывало, что все будет нормально... В силу возраста перед будущим не было страха, но вот мать... Она с испугом смотрела на его горизонты, теребила лацканы наглаженного кителя, Иван же был уверен — ничто не может сломать его жизнь, потому что жизнь — река, ее невозможно остановить. «Мама, о чем ты думаешь? Это такая

работа. Я к ней готовился. Я все умею». А мама, как и другие мамы, думала о диких горцах, которые тайными тропами пробираются в лагерь сопливых советских солдат. Платов не знал, что писать матери в ответ на ее письмо, врать, придумывать, что внезапно поменялся адрес, и вместо города и улицы в нем появился номер полевой почты. Что же здесь непонятного, когда до афганской границы рукой подать? «Не бойся за меня, я — сильный. Другим хуже, чем мне. Тем, кто не понял, куда пришел». Что еще он мог написать? И так целая страница оправданий, как будто он уходил добровольцем.

\* \* \*

— Гюльчатай! Открой личико! — Булыгин, взводный третьей роты, с задней скамьи попытался громким шепотом разнообразить лекцию-инструктаж замполита батальона Писарева.

Замполит отложил в сторону тонкую брошюру, отпечатанную на желтой газетной бумаге, посмотрел в сторону нарушителя дисциплины.

— Гюльчатай, Гюльчатай... На большее ваших извилин не хватает?

— Никак нет, товарищ майор, хватает. Фильм с товарищем Суховым и моим тезкой Петькой является самым лучшим пособием для изучения стран Востока, в частности Афганистана, поскольку события там разворачиваются почти по соседству и...

— И что?

— ...раскрывают черты характера и обычаи восточных народов.

— Вижу, что подготовлен, во всяком случае, на словах. Так вот, товарищи офицеры, об этом и разговор — о бдительности. Все знают, чем для Петьки закончилось его неуместное и настойчивое любопытство. Исполнял бы служебные обязанности — остался бы жив.

— Так это же кино.

— Булыгин только что сказал, что хорошее пособие...

— Изголодался Петька по девкам, вот и попал, — поддержал не то взводного, не то замполита Ковтун, батальонный комсомолец, его взгляд при этом ушел куда-то в сторону, он сочувствовал бойцу Красной Армии, а заодно и себе, обычному прапорщику, заброшенному на два года к черту на кулички.

— Наши девчонки в сто раз лучше, без вариантов.

— Танец живота танцевать не умеют.

— Ага. В соседнем кишлаке умеют — с мотыгой в борозде, — Ковтун был неумолим, и лекция потихонечку становилась балаганом.

— Товарищи офицеры! — Замполит постучал указкой по переносной трибуне. — Заканчиваем отступление от темы.

Диковинный этнографический инструктаж при входе в Афганистан предписывался политуправлением Туркестанского округа всем подразделениям и был жизненно необходим. Большинство офицеров по недоразумению считали, что со своим высшим образованием они достаточно знают о том, что происходит вокруг, но знакомый мир даже в масштабах этой первобытной азиатской страны оказался настолько огромен, что больше походил на другую планету. Ну, например, носить паранджу в конце двадцатого века, это какво? Не по прихоти своевольной дамы-феминистки, а совсем наоборот, потому что так требует ее строгий муж или отец, а вместе с ними имам уездной мечети. Наши таджики, то есть таджички, уже лет пятьдесят как забыли про паранджу, если только не хра-

нят в шкафах в качестве музейной древности. А местные афганки носят ее даже в жару, когда асфальт плавится, когда от духоты дышать нечем. Так куда движется цивилизация? Отчасти это и была тема инструктажа, ради которого офицеры и прапорщики батальона собрались в большой брезентовой палатке.

— Итак, продолжаем, — замполит прокашлялся, — Афганистан — восточная мусульманская страна, здесь многие вещи могут показаться нам, советским людям, необычными. Например, в домах афганцев есть мужская и женская половины, окна женской половины всегда выходят во внутренний двор, на женскую половину чужим мужчинам входить нельзя, это табу. Нельзя рассматривать лица женщин, к женщинам нельзя проявлять интерес, это тоже табу. Если при выполнении служебных обязанностей окажетесь в гостях — все может случиться — их нельзя приглашать за стол, у женщин свой стол, и вообще, женщина, ханум — не собеседник, она... Как бы это точнее сказать... Она — принадлежность мужчины.

— Вот бы у нас так было!..

— Главное, конечно, религия. Афганцы строго соблюдают религиозные обряды. Для них ислам крайне важен, он определяет сущность этого народа, даже совершенно необразованным людям он объясняет примитивную конструкцию мира. Никакое другое устройство, кроме мусульманского, они не признают. Эта тема для афганцев вне обсуждения. Аллах велик и Мухаммед пророк его — это не только формула речи, это главный принцип их бытия. Каждый, кто немусульманин — неверный, гяур, то есть человек, на которого не распространяется... Короче, которого можно убить, и по шариату — по их мусульманскому закону — им за это ничего не будет.

В этом месте замполит оторвался от своего конспекта, от инструкции, было видно, что он размышляет сам. Видимо, что-то уже слышал об этой странной чужой религии, хотя для него, как и для всех коммунистов и комсомольцев, любая религия была странной; свою же коммунистическую идеологию они религией не считали.

— Товарищ майор, зачем это все? — вывел его из раздумий вопрос Платова.

— В смысле, зачем мы здесь?

— Ну, да. С интернациональным долгом понятно. Партия приказала, мы выполняем. Я говорю о другом. Мы не знаем их жизнь, не понимаем, как она устроена. Вот что они в итоге хотят?

— Бандитизм, насилие над людьми, террор в масштабах страны... Вряд ли они этого хотят, так что моральное основание для нашего вмешательства налицо.

— Наверное, они сами должны разобраться, что им нужно. Мы к тому же не мусульмане.

— Сдается мне, Платов, ты не единственный, кто об этом подумал, — язвительно бросил замполит, уставший доказывать очевидное. — В Москве все взвесили и приняли соответствующее решение. Что до афганцев, в своем бардаке сами они никогда не разберутся.

— Ага, мы точно разберемся, — пробубнил себе под нос Ковтун.

— Это не тема инструктажа, но раз так стоит вопрос, я вынужден напомнить: афганские события стали для нас актуальными, когда в Кабуле был убит премьер-министр Тараки, друг нашей страны. Возникла угроза сползания Афганистана под западное влияние, новый премьер Амин учил



ся в американском университете и был связан с ЦРУ. Афганистан мог стать нашим врагом. Убедительно, Платов?

— Вот теперь убедительно, товарищ майор, а то бандитизм, террор — это все для местной полиции, для царандоя.

— Продолжаем занятие. Теперь по теме. Устройство афганского дома...

Какие красивые у афганцев названия: Саланг, Гардез, Газни, а вот Киджоль, Алихейль, Пактия, Герируд, Герат... Так ведь? Платову досталось не менее красивое — Баграм, жесткое, мужественное. Но Баграм, древний город и крупный гарнизон, расслаблял и военных, и гражданских, скрывал реальность. Не стреляют. Если, конечно, не считать наши гаубицы разных калибров и «Грады», эти-то стреляли, считай, круглосуточно, не стеснялись. Журчали искусственные арыки, зеленели палисадники, управленцы или штабные, как ни назови, начищали до блеска еще союзные коричневые туфли, в соседних баграмских лавках, в дуكانах продавались джинсы и батники, тонкое женское белье, наборы косметики, тут же японские магнитофоны, кассеты с музыкой, в основном с иностранной попсой, но был и Высоцкий. И была одна проблема, которая вначале казалась самой главной — укрыться от вездесущей отупляющей жары. Как только солнце подбиралось к полудню, гарнизон вымирал. В кабинетах больших начальников еще встречались кондиционеры, но это в виде исключения; что до солдата, то ему бы найти островок тени, хоть у грибка дневального, хоть под козырьком ангара, хоть в окопе на посту охранения. Под тяжелым бронежилетом на груди, на спине скапливается пот, нагревается потертая каска, от нее нагревается темя, затылок. И снова, оставляя длинные соленые борозды, по шее, по вискам скатывается липкий пот.

Это была вселенская проблема. Но тут же на нее накладывалась другая: несмотря на жару, нельзя пить открытую воду, строго-настрого нельзя, да и любую другую воду надо попридержать во фляжке. А доктора с умным видом говорят, что человек должен выпивать три литра воды в день. В условиях Баграма — это отвар верблюжьей колючки. Но кто бы знал, где взять эти три литра на боевой операции? И что делать, когда, не успев сделать глоток, чувствуешь, как он превращается во все тот же противный, липкий пот? Какая-то бесконечная цепь мучений. Но солдат стерпит все, так или иначе, ему отступать некуда.

И все-таки Баграм — райское место... Не стреляют.

В модуле, в сборно-щитовом строении, где разместили офицеров десантно-штурмового батальона, было по-спартански аскетично. По углам комнаты стояли три койки, в четвертом углу — платяной шкаф для армейской амуниции, у окна — слегка обшарпанный однотумбовый стол с настольной лампой и графином для воды. Особой приметой были гвоздисточки, они торчали над всеми койками, нарушая обычное убранство комнаты, и предназначались для автоматов и разгрузок с магазинами и гранатами.

На одной из коек, не раздеваясь, в берцах, в форме нового образца лежал старший лейтенант из местного разведбата. Он безучастно курил, выпуская в потолок струю дыма, и на прибытие Платова отреагировал меланхолично:

— Салам, бача.

— Здорово, — Платов остановился у двери, осматриваясь.

— Похоже, мы соседи, — старший лейтенант оказался нетороплив и немногословен. — Аркадий... Курнаев, для своих — Стрелец.

— Иван, Платов. Для своих Иван и есть.

— Из Союза? — Он лениво скосил взгляд на нового постояльца. — Видно, что из Союза. Хм, свежий, как из прачечной. Как там?

— Никак. Ветер с песком, песок на зубах и песок до горизонта.

— Знакомая песня.

— Нас держали на полигоне для адаптации. А дома, в Термезе, жена носом хлюпала. Единственная мысль мозг пилила: быстрее бы сюда, за речку, раньше сядешь — раньше выйдешь. Вот она и сбывается.

— Ты с юмором, — сосед наконец-то заинтересовался прибывшим. — Термез, эх, благодатные места. Новбахор, арык журчит, узбеки травкой торгуют. Не ценишь ты мирную жизнь, дружище. Вспомнишь еще.

— Вспомню, от нее не спрячешься, — Платов неуместно вздохнул.

— Выпить есть что?

— Сообразим, оформим прописку по всем правилам. Сейчас один приятель подтянется.

— Ладно, закуска за мной.

Бутылка союзной водки, пшеничной, мягкой, ушла быстро, с ней две банки тушенки с гречневой кашей, разогретые за модулем в трофейном котелке на двух кирпичках и одном сигнальном патроне. Закурили. Курнаев, немного оживившись, ввоял молодых офицеров в курс дела, лишнее наставление никому не помешает, имеющий уши да услышит.

— Год назад на сторожевой заставе, здесь недалеко, случай был. Днем, в жару, когда все, кроме дежурной смены, отдыхали, боец с целым ящиком патронов рванул к духам. Думал, не засекут. А на заставе за командира молодой лейтенант оставался, из Союза недели две-три как прибыл. Летеха сначала кричал беглецу, потом стрелял в воздух, потом на поражение, короче, убил нах... предателя. Метко стрелял, первой же очередью между лопаток.

— А дальше?

— Дальше, ясно что — прокуратура.

— Так что он должен был делать-то? — Ковтун, их третий компаньон, замер в ожидании другой версии, хотя для политзанятий при таких делах ни одна из них явно не годилась.

— Как что? Стрелять. Стрелять предателей! — Рассказчик зло прищурился, сквозь табачный дым оглядел заинтригованных слушателей. — А вот убивать не надо бы... Поменьше большевизма. Делай, что приказывают, что в инструкции написано, а в остальное не лезь. В конце концов, этого козла-изменника можно было и на боевые списать. Обстрел, случайный выстрел, снайпер... А летеха слишком правильный оказался, начал докладывать командованию, рапорта писать, дописался. Сам на себя и написал, запустил маховик.

— И что теперь?

Байка или нет, но Платов, задавшись вопросом, что же здесь на самом деле происходит, теперь хотел дойти и до ответа. Разведчик с годовым стажем в Афгане, пожалуй, будет лучшим наставником, чем их добросовестный замполит. Обычный солдат обычной войны, Курнаев и не пытался выглядеть героем. Среднего роста, такого же телосложения, с неброскими чертами лица, он выделялся только мягкой походкой, как если бы не наступал на пятки и всегда был готов к броску. Его глаза снова сузились.

— Если предположить, что все так и было, как я рассказал, если по всем правилам, то парню хана, трибунал и срок за умышленное убийство.

— Но ведь война же?

— Какая война? Кто тебе сказал? Интернациональная помощь братскому афганскому народу — газет что ли не читаешь, комиссарскую правду не слушаешь? А там, между прочим, объявлена официальная позиция. Усвоил, бача?

Старлей растянулся на кушетке, глядя в низкий потолок комнаты, молча затаился вонючей «Примой» и, разговаривая, как будто с самим с собой, добавил:

— Понимаешь, при полном раскладе тут одно из двух: или этот боец был в конце оборзевший наркоман, или хуже того — молодой, которого дембеля послали в дуكان за водкой. А летеха убил его по незнанию. Да и откуда ему знать местные расклады. Вот такой зигзаг получается. Если окажется второе, а по закону подлости окажется именно второе, ни красный диплом, ни партийный билет парня не спасут. Выйдет лет через десять с зоны, а на душе синяя заплатка величиной с два кулака.

— Так это что — правда? — Вопрос перетекал в ответ, ответ становился очевидным. — Гм, какой-то обоюдоострый служебный долг.

Старлей приподнялся на локте, внимательно, изучающе посмотрел на взъерошенного Платова. Тот, несмотря на выпитую водку, на отяжелевшую голову, продолжал делать открытия, дорисовывая условия задачи, в которых вдруг оказался мозг, его серые клетки наполнялись всяким хламом, то есть информацией, и по мере наполнения в них выстраивалось что-то бессистемное, нелепое, что-то близкое к кошмарам Сальвадора Дали.

— Иван, а ведь ты, что тот летеха, несгибаемый, как инструкция... Но голова варит. Значит, поймешь: тут что ни байка, все из жизни, все в десятку, а то, что юмор черный... Так откуда другому взяться. И ты привыкнешь, бача.

— Аркадий, а как здесь с этим, с выпивкой? — Ковтун, заполняя паузу, характерно постучал пальцем по горлу.

— Если еще найдется, — разведчик расплылся в саркастической улыбке, — то расскажу.

Платов вопросительно оглянулся на своего напарника по службе, в ответ тот удовлетворенно приподнял бровь.

— Мне тут землячки фляжку местного самогона подогнали, так что если...

— Годится, неси.

Самогон, который принес батальонный комсомолец, оказался подозрительно темного цвета, некрепким, на вкус — полная гадость, но в голову после него все-таки ударило.

— Кишмишовка, — увидев вопросительные взгляды, заключил Курнаев. — Местное пойло, гонят из... А черт его знает, из чего гонят, может, из тутовника. Барыги в дуканах торгуют из-под полы, между прочим, пользуется спросом.

— Часто выпиваешь?

— Ну, ты спросил, бача. Был бы повод. А какой твой интерес?

— Как бы в порядке изучения обстановки, — Платов хитро улыбнулся, больше ожидая реакцию, чем сам ответ, потому что интереса у него не было ровным счетом никакого.

Курнаев отреагировал низким горловым звуком, издавелека напомина-

ющим смех, посмотреть на него долгим взглядом, пытаюсь понять, достоин ли собеседник ответа.

— Выпиваю, не обращай внимания. Когда надо быть в форме — я в форме. Остальное — детали. Вот послужишь здесь полгода, а то и месяца хватит, и у тебя всегда найдется и причина, и повод.

Ковтугн уснул, пьяно уткнувшись в подушку. Платов и Курнаев вышли из накуренной комнаты, устроились на скамье в курилке и медленно, по колпачку, под долгий разговор добились полупустую фляжку. Сквозь не видимую в ночи масксеть проглядывали близкие афганские звезды, мириады звезд, из которых ярким поясом выкладывался холодный Млечный путь. У каждого свой путь.

— Знаешь, Иван, я рассказывал о летехе... Это не байка, совсем не байка, — захмелевший разведчик прокручивал в голове свою короткую армейскую жизнь, разминая в пальцах потухший окурочок.

— Что же тогда? — Платов насторожился.

— Это я рассказал о себе, о другом, из прошлой жизни.

— Аркадий?..

— Почти как в песне, «Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял...» Меня каждый день тягали в прокуратуру. Полк уходил на операцию, на Бамиан. Командир дал добро, и меня включили в приказ офицером связи... А там прошло три недели, потери у нас, гибель местного населения, в общем, прокурорский следок сдался. На моем расстреле никто не настаивал, хохма... Короче, мой вопрос решился сам собой, потерял актуальность, не стали заострять... Вот только я сам не могу забыть того солдата. И черт бы с ним, с изменником, но позже я увидел его довоенные фотографии, а там отец, мать, там невеста и сам он еще школьник, все улыбаются, там счастье мирной жизни, а здесь сплошное дерьмо, и я со своим первым разрядом по стрельбе.

— Поэтому ты — Стрелец?

— Не-е... Мой знак, огненный, целеустремленный. И Стрелец, и стрелок, и очень много практической стрельбы. Все совпало.

— Стрелец, зачем ты мне это рассказываешь?

— Ты спросил, много ли я пью. Я тебе дал развернутый ответ — много, Ваня. Да и носить в себе... Знаешь, как это бывает... В другую дивизию, в разведбат перевелся, думал, забудусь, отпустит, здесь некогда рефлексировать, много горячей работы. Пью, поминаю своего первого, которому между лопаток... С тех пор я никому не выстрелил в спину, ни одному духу.

Платов сосредоточенно слушал, он умел слушать и, уловив в последних словах разведчика и второй, и третий смысл, приподнял голову, посмотрел вопросительно в глаза.

— И чистые родники наполнятся алой кровью, — Курнаев неприятно оскалится. — Ты хотел спросить, скольких я уже... Знаю, что хотел.

— Почти угадал, дернула мысль...

— Хм, и не спросил. Хорошо, что не спросил — тебе это ни к чему, да и не важно. Важно другое — за ними не спрячешься.

— Стрелец, как это — убить человека? — Платов почувствовал, что покраснел, но в ночной темноте эта неловкость была не видна, а спросить, так или иначе, было нужно. — Если что, без передачи, я — могила.

— Да брось, никаких тайн, народ здесь простой, военный. Здесь, если что, своих не сдают. Ты — солдат, я — солдат. Стрелять придется — это работа, не отмажешься, баца. Нравственная планка мешает? Не дрейфь,

перешагнешь. И запомни одну вещь: убить человека страшно, убить врага — высокая честь. Хотя, что я тебе говорю? Будет надо — ты это сделаешь, как учили, и ради себя, и ради своих сопливых бойцов. Не ломай голову, все будет, как надо, чики-пики. А вот когда ты захочешь посмотреть в глаза убитому врагу... а ты захочешь, ха-ха, — у Курнаева снова что-то заклокотало в горле, наверное, это был смех. — Считай, что ты созрел. Позови меня тогда, не забудь, обмоем.

— Что обмоем?

— Кого, летеха. Тебя, новорожденного. Что-то я разболтался сегодня. Ну, что там у нас с флягой?..

В Панджшере начиналась армейская операция. Огромное количество войск двинулось в ущелье, в прилегающие районы. Пора, достал уже этот бессмертный Ахмад Шах, хозяин Панджшера, феодал в классическом смысле и заноза в заднице во всей нашей афганской кампании. Сколько покушений на него проведено местной контрразведкой, и все впустую, остался самый прямолинейный, самый сомнительный выход — нещадно бомбить, накрывая большие площади, и надеяться на удачу. Смешно, но именно его прозвали Масудом, счастливым, удачливым — как хочешь, так и понимай — ему всегда везло, начиная с давнего исламского мятежа против премьера Дауда. Таких, как он, лучше было бы иметь в друзьях... Но историю не перепишешь...

*«Какие высокие горы! А-а, это еще не высокие? Читай карту, там все обозначено. Это только две тысячи. Черт, еще сотня метров вверх, и я сдохну. Но не надо демонстрировать слабость, никто не оценит. Стрелец ничего об этом не говорил. А как же бойцы? Их никто не готовил к таким нагрузкам, никто не ждал... Не имеет значения — обратной дороги нет».* Рваные, незаконченные мысли блуждали в голове Платова, не связывались, не соединялись, не давали ответа на обыденный вопрос: зачем? Зной. Зной внутри, в легких, снаружи — на лице. Но воздух абсолютно сухой, и это спасает, «мотор», несмотря на прежние опасения, работает ровно, как часы. Рваные мысли не останавливались, продолжали бесцельно блуждать, опускались до простых чисел. Тринадцатый день операции, к вечеру заберем на три тысячи, в батальоне уже пять убитых и снова тринадцать — раненых. Посреди размышлений все тот же обыденный вопрос: зачем? Должен же быть и ответ...

После трех тысяч начали спуск в долину.

Утром взвод Платова напоролся на небольшой уютный кишлак Санги Хан, что расположился в долине Пирингаль, в широкой низине по обеим сторонам реки, больше походившей на ручей. Удаленный от горных склонов, открытый со всех сторон, кишлак хорошо просматривался и никакой опасности для взвода не представлял. Больших домов-крепостей, как в Баграмской зеленке, здесь не было. Шли легко, быстро, парами, один боец осматривает строение, другой прикрывает. Малые домишки-дувалы осматривали больше для формальности, чтобы в спину никто не выстрелил; над теми, что крупнее, работали всем взводом. Общее прикрытие обеспечивал ротный, капитан Свиридов, со своей группой управления и с другим взводом, который он постоянно держал при себе.

В одном из дувалов, во дворе, благодаря восьмикратной оптике, Платов увидел безоружного афганца лет тридцати. Дом обложили раньше, чем тот сообразил, что происходит. Когда сообразил, попытался бежать,

такова обычная реакция на страх — или ступор — но две короткие очереди заставили его остановиться с поднятыми руками. Бойцы у лейтенанта были правильные, выполнили то, что приказано, убивать духа команда не поступала. Растерянный, испуганный человек не пытался сопротивляться, но что он тут делал? Первое, что пришло Платову в голову — вернулся по хозяйским делам в свой дом, в свой кишлак, брошенный жителями три недели назад. Какой же он после этого афганец, горец, если вовремя не увидел целую роту шурави, рассыпавшуюся по всей долине? Разведчик? Разведчики осторожны и осмотрительны, поодиночке не действуют, да и не похож он был на душмана.

Свиридов, которого бойцы за глаза называли *Быком*, отнесся к пленному с воодушевлением и соглядатая, разведчика в нем признал сразу, без колебаний.

— Платов, душка притащил? Хорошо. Вот он-то нам и расскажет, что за хреновень тут в ущелье творится. — Для большей ясности своих намерений он, не раздумывая, ударил афганца тяжелым кулаком под дых. — Говорить будешь?

— *Нис фамиди! Нис фамиди*, — с трудом выдохнул пленный. Откуда ему было знать, что хочет, о чем говорит на своем языке этот страшный, покрытый красными пятнами кафир.

— Не понимаешь? А ну колись, сука. Кто такой, откуда, что делал в кишлаке?

Афганец что-то невнятно мычал в ответ, пытался заработать снисхождение, что-то объяснить... Но у Свиридова, как у настоящего быка, уже наливались кровью глаза, его бесило, что он ничего не может понять из этого бормотанья.

— Товарищ капитан, — Платов, все это время остававшийся наблюдателем, напомнил о себе ротному. — Он же неотесанный крестьянин, вернулся домой, к своему хозяйству.

— Или кто-то заставил его вернуться. Соображаешь, Платов? — процедил он сквозь зубы. — Взводу — привал полчаса, пообедайте, а мы тут пока разберемся с вражеским лазутчиком, выясним, где он гулял последние два дня.

В пыльную глинобитную комнату с разбитым окном, выбранную под штаб, шумно дыша, уже вваливался Малыгин, взводный саперов, приданных роту. После подрывов на минах и гибели солдат инженерно-саперного батальона, в котором он служил, у него сложилось свое отношение и к душманам, да и ко всем афганцам, которым он упорно не доверял. Малыгин молча привалился к притолоке и ждал указаний.

— Есть взводу привал!

— Разберемся, допросим, а сапер мне как раз и поможет, — ротный оглянулся на дверной проем, на Малыгина. — Да, сапер?

Тот молча кивнул в ответ и недобро взглянул на пленного.

— Курбанов! — Ротный крикнул в окно, за которым в теньке, привалившись вещмешками к стене дувала, прикрыв глаза, лежали солдаты группы управления. — Сюда давай! Быстро!

На узкой кривой лестнице раздался стук тяжелых шагов, и вот ленивый, неопрятный солдат с упрощенным выражением лица застыл на пороге, пытаясь приложить руку к панаме.

— Курбанов, сколько раз говорил, не прикладывать руку к панаме за пределами полка. Будешь переводить, понял? И смотри, не дай бог, наврешь, уши узлом завяжу.

Солдат на всякий случай напрягся, кто его знает, этого Быка, он и здоровый, и без тормозов, а Свиридов, собрав морщины на лбу, продолжал разыгрывать свой жестокий спектакль. По закону жанра, обстановка в нем должна была постоянно нагнетаться. Для Курбанова после родного кишлака в горах и учебного центра в узбекской пустыне третьей и крайней точкой в жизни была война. Побывать хотя бы на одном настоящем спектакле ему не пришлось, этот был первым. Он переводил вопросы ротного неумело, неточно, что-то бубнил, прожевывая, недоговаривая слова, иногда не понимая афганца и не задумываясь о том, что последует дальше. Еще хуже ему давался обратный перевод на русский.

— *Товаш каптан*, он ничего не знает.

— Все он знает, — ротный зло ударил афганца ногой. — Еще раз спроси, где скрываются духи, где его банда?

И Курбанов, и пленный были таджиками, но солдата судьба афганского таджика никак не беспокоила.

Пока шел допрос, Платов, устроившись на разбитом ящике в соседней комнате и вытянув оттоптанные с утра ноги, прямо из банки ел гречневую кашу, подогретую его бойцами на костерке. Разговор за стеной постепенно переходил на крик и рычание, Свиридов утраивал афганца, бросая ему в лицо непередаваемые ругательства, обдавал несвежим дыханием, закон жанра продолжал работать. Голос Малыгина не был слышан. Потом замолчали и остальные, ненадолго установилась тишина, нарушаемая хрустом песка и шарканьем тяжелых шагов.

— Упертый... Ну и напрасно. Могли быть варианты. Кончай его.

Дробно шелкнул затвор. Ударил короткая очередь. Секундой позже Платов бросился в расстрельную комнату. Навстречу, чуть не сбив его с ног, вылетел с огромными испуганными глазами солдат Курбанов, споткнулся о порог и с грохотом провалился в темную щель лестничного пролета. Взводный саперов Малыгин держал автомат стволом вниз, все еще направленный на вздрагивающее тело афганца. В жуткой мгновенной тишине были слышны хрипы пробитых легких и бульканье уходящей крови.

— Олег... Зачем?

Слов не было, мыслей не было, не было даже эмоций, только этот обжигающий, пульсирующий вопрос. И еще смутное ощущение, что всем кроме него, Платова, известен правильный ответ.

— Кто нас только не убивал, Ваня, — волчий взгляд Малыгина пронизывал насквозь. — Война, *мать ее*... А что ты хотел? Они — нас, мы — их. Все просто. Вот и не усложняй.

На лице Платова отражался сумбур переживаний, оно было открытой книгой с тем же единственным вопросом, с долгим многоточием, и Свиридов осекся, придержал свой уличный хулиганский восторг, с трудом втиснув себя в образ строгого ротного командира.

— Добивай кашу, и выдвигаемся. А это... потом обсудим. На войне как на войне, сам понимаешь.

Впереди был долгий день, и с кашей, остывшей и потерявшей всякий вкус, надо было справляться, она казалась съедобной. Платов с остервенением размалывал ее зубами, глотал полусухие комки и не давился. Солдат должен быть сыт и готов к действию, тем более — боевой офицер, а изорванный пулями труп врага с исходившей от него слащавой вонью не повод отказываться от еды. Надо набираться сил для новых побед... Вернулись мысли... *Что за допрос? Узнать, как зовут, откуда родом,*

*кто родителели, есть ли семья, дети? Вот что надо было сделать, зацепить за живое. В конце концов, дать помолиться и выстрелить над головой. А так, все по Малыгину — око за око. И без результата. Черт, это я его сюда привел...* По большому счету, афганца было не жаль, всего за месяц это чувство изрядно потускнело. Лейтенант не видел его огромных зрачков, тот не кричал, не бился в истерике, ни о чем не просил. Это был не тот случай, о котором говорил Стрелец, но почему-то с первых же минут хотелось стереть его из памяти. Стереть навсегда.

Ближе к вечеру оседлали очередной хребет и пошли по нему вверх, удаляясь от Санги Хана, легкие опять дышали как кузнечные меха, сжигали адреналин, помогая забыть чертовщину уходящего дня. На ночном привале рядом с Платовым присел Свиридов. Теперь он был готов сделать командирское внушение.

— Закурим, Платов? — Он неловко покусал губы, словно выстраивая подходящее выражение лица. — Что там у тебя?

— «Столичные» подойдут?

— Давай... — Ротный помял в толстых пальцах сигарету. — Не бери близко в голову... Не мы это придумали. Душман отказался сотрудничать, пришлось его ликвидировать. Вот и вся логика для отчета. Можно добавить лирики: стойко держался. И что с ним делать, если он ни в чем не признается, с собой таскать? Отпустить нельзя, сдаст, отработает как разведчик и сдаст, или в спину выстрелит. Тебе уже стреляли, не забыл еще? А на закате, как обычно, жди засаду. Я понятно излагаю?

— Понятно, товарищ капитан, что ж тут не понять.

— На прошлой неделе в этом районе, севернее по ущелью, духи расстреляли батальон у соседей. Это была местная банда, — местная! — усиленная кое-какими легионерами. Теперь спроси себя — этот душок там был? Попробуй ответить правильно, не ошибись... Мы никого не должны прощать. Он убивал наших ребят, это точно. Он знал, за что мы его кончим, все по заслугам, все по делам, потому и молчал. Ну что ж, умер как мужчина, — закончив убедительный монолог, Свиридов вперил взгляд в Платова в ожидании ответа.

— Да мне... товарищ капитан, — Платовым вдруг овладела злость, странным образом выходяло, что ротный, прямолинейный и недалекий, оказался прав. — Убейте всех, кого поймаете, только моих бойцов в это дело не впрягайте, мне ими командовать и мне за них отвечать. Договорились?

— Ладно, как скажешь, по рукам. Но ты не заводись так скоро, с полюборота, ты вникай в ситуацию, ты вникай.

Да, командир роты был прав. Он создавал подразделение, которое могло бы выполнить любую боевую задачу, исходя из любых обстоятельств, в том числе и тех, о которых не принято распространяться. Кто знает, какими будут эти задачи? Все только начинается. Важно, чтобы никто не выстрелил в спину, да и не сдал тупо, когда припрут обстоятельства или родная военная прокуратура. Все должны быть повязаны, и не только интернациональной идеей, но и чем-то покрепче. Война — это серьезно, это не для слабонервных. А взводный — что взводный? Обычная реакция обычного человека.

— Наверное, хотели узнать мои планы на будущее? — Платов ухмыльнулся. — Докладываю. Доберусь до койки — дерну кишмишовки и сутки буду спать.

— Ха-ха-ха, — Свиридов благожелательно похлопал его по пле-



чу, — вот это правильно, вот это по-нашему, только кто ж тебе даст целые сутки?

— Так и знал, зажмете.

После проведенной психологической работы ротный, наконец, отстал. День заканчивался, это был чудесный майский день, почти без войны. Недалеко журчал горный ручей, с близких ледников тянуло вечерней свежестью. Что в итоге? Снова простые числа. Минус один — минус одна человеческая жизнь.

\* \* \*

Прошедший год, год в Афганистане — как наваждение. Поверить бы самому, что прошлое невозвратно — оно рухнуло, полетело к чертям... Еще недавно в Омске была у Платова эта странная Леночка, от которой он пытался отвертеться, и на полном серьезе рассказывал ей про таинственный, шпионский Афганистан, где прячутся в засаде тарантулы и ядовитые змеи, а злой душман точит свой длинный кинжал. Она еще жеманничала, дура... А сам-то кто? Афганистаном прикрывался. Или другой эпизод: он стоит, заметаемый пылью, на зимнем балконе, смотрит на пылающий у Хайратона трубопровод и пытается увидеть свое будущее. Как же все изменилось...

Но как только утром открываются глаза и сквозь сон прорывается сознание, игра в «веришь-не веришь» теряет смысл, есть правила, им надо следовать. Платов — взводный, он человек в шкуре взводного. Должность — это и есть шкура, толстая, дубленая, обязывающая, из нее не вырвешься только потому, что устал. Набор его правил и длиннее, и строже, чем у солдата; он отвечает за все. Когда бойцы после рейда прячутся от него в каптерке, пьют самогон, как сейчас, он только кривит губы: думают, взводный не знает. Все взводный знает, но он ценит чужую короткую жизнь не меньше своей, и это маленький реверанс их солдатскому труду. Пусть придут в себя, расслабятся, черт с ними, заслужили, а он пока молча посидит у палатки, выкурит до фильтра пару «Столичных», подождет, пока Свиридов соберет вечернее совещание. Он бы и сам с ними выпил их дерьмового самогона — Платов усмехнулся — вместе вернулись бы в свой крайний бой, а с кем еще? Но он в шкуре взводного, и не будет этого делать. Пить со Свиридовым, слушать его анекдоты про армянское радио, заезженную мысль, что пуштуны сами выбрали свою судьбу, а когда все напьются, бросать ножи в деревянный щит — это служба, от нее с утра болит голова, а сухое горло стягивает все та же удавка. Наверное, ротному легче, в его понимании выбрать судьбу — значит, быть повинным в ней. Доказав в очередной раз эту мысль, он внезапно заснет, не раздеваясь, его удавка ослабла... Пьют с равными... Ладно, бойцы, выпьем когда-нибудь после войны. Он снова усмехнулся. Когда все станут равными...

Как наваждение... Тягмотина рейдов в лютую жару или блуждание по заледенелым хребтам, вечная нехватка воды и постоянная готовность встретить врага. Платов и не заметил, как все это притерпелось, притерпелось, стало буднями, выработав другие рефлексы, не нужные человеку в обычной жизни. Вслушиваться в интуицию, доверять ей — вот такую статью добавил Платов в свой боевой устав. Терпи, летеха, терпи, боец — в общем, терпи, казак, атаманом будешь.

В конце лета они поднимались на Дару, высокую гору под четыре тысячи метров с поясом крупных камней в средней части. Какого черта сза-

ди взвода оказалась разведка сто восемьдесят первого полка, никто не ответил, но «вжарили» разведчики из гранатометов от души, за духов приняли, и если бы не эти камни... Во взводе нашелся придурок, который хотел ответить огнем, стрелять по своим! Платов дотянулся до него прикладом раньше, чем тот нажал на спуск. Разведчиков все-таки угомонили, объяснив им с *матюками*, что они *такие-то и такие-то козлы!* Только услышав родную русскую речь, они и остановились. Два месяца назад рядом с его взводом на горном хребте разорвался артиллерийский снаряд... Это был пристрелочный, дымовой. Кто заказывал, кто так бестолково корректировал стрельбу — не важно, было важно, кто успеет отменить залп батареи. Взводу повезло — Платов успел. А вчера они штурмовали дом в окрестностях Чарикара, предварительно расстреляв все окна из подствольников и выбив массивные дубовые ворота, но все равно напоролись на встречный огонь. Раненые и контуженые духи продолжали упорно огрызаться. Когда бойцы до них добрались, о пленных вопрос уже не стоял, перебили всех. Слава богу, взвод отделался двумя легкими ранениями...

Так пусть выпьют своего пойла, чтобы в глазах не стоял красный туман, и не дрожали руки, а он пока покурит, сидя у их палатки, постережет, просто побудет рядом. Завтра наступит новый непредсказуемый день, такой же, как предыдущие, на другое лучше не рассчитывать...

Как наваждение... Первым из них троих, попавших в Афган, подорвался на противопехотной мине Игорек Якубов, нехорошо подорвался, потерял ногу выше колена. Его это не сломало, он только стал злым, злым на всех, злым на всю оставшуюся жизнь, какой бы долгой или короткой она ни оказалась, хотя и раньше милосердием не отличался. Вторым выбыл из строя Чесноков, его БТР наскочил правым колесом на фугас, и теперь мастер спорта по дзюдо и самбо валяется в Ташкентском госпитале с раздробленными ногами, с разорванным *ливером*. «Ну что, Праценюк, ты доволен? Они исполнили твой приказ, кровью смыли свою вину». О себе в этом ряду Платов не думал, интуиция ничего не подсказывала ровно до того дня, когда он сам наступил на мину-итальянку, но она... она не взорвалась, не захотела. Тогда и сложился этот черный ряд. Нелепость какая-то... При одном воспоминании о Праценюке Платов презрительно сплюнул на горячие камни. «Демон! Сволочь! Мы воюем, дело делаем, а что он там делает? Наверное, пьет молдавское вино кружками да мемуары пописывает. А может, продолжает изрыгать проклятья?»

Наваждение кончилось внезапно. Однажды в декабре. Батальон Стрелева, батальон в котором служил Платов, двумя полными ротами, минометной батареей с двумя стволами забросили в район крепости Алихейль, что в провинции Пактия, на зачистку от духов приграничной с Пакистаном территории. Там на большом участке предгорий уже работали батальоны десантно-штурмовой бригады и мотострелкового полка из Газни, другие части; много войск стянули, но согласно вводной информации, количество духов превышало все наши силы в несколько раз. Командование могло перестраховываться, преувеличивать вражеские силы, но когда рядом Пакистан, лучше перебдеть, чем недобдеть... Над горами висел туман, иногда переходящий в дождь и снег. Погода была мерзкая, под ногами чавкала размякшая земля, взвод Платова спасала небольшая пещера и скала, нависающая над позицией взвода и скрывавшая людей от сырости. Там и разводили небольшой костерок из собранного поблизости валежника, чтобы по очереди погреть руки и даже просушиться, если получится. Платов, разувшись, выткнув ноги, сидел у огня, когда из-за

скалы появились голова сержанта Сермягина, его заместителя, с выбившимися из-под шапки соломенными волосами. Для афганских гор его облик был необычен: синие глаза, конопушки на носу, белесые брови, пухлые, полудетские губы. От него веяло запахом парного молока, рязанскими луговинами, тихой, почти забытой за расстояниями родиной.

— Духи, товарищ лейтенант, — он говорил громким шепотом, как будто боясь, что за полтора километра за шумом порывистого ветра его услышат те самые духи. — Их много.

Платов неторопливо обул ботинки, зашнуровал покрепче. Если бой, то надо быть собранным и сосредоточенным, несколько секунд ничего не решат, суета все испортит. И тут глазам взводного предстала неожиданная и жуткая картина. Туман уже поднялся, обнажив широкие рыжие предгорья, и по ним темно-серыми волнами поднимались моджахеды. На взгляд их было сотни две или больше. Внутри что-то напряглось, пальцы сжали автомат, как последнюю соломинку. В бой вступила бригада, ее батальон был ближе всего к накатывающейся волне. Ряды моджахедов медленно редели, но они продолжали идти, и в этом упорном движении было что-то устрашающее. На позициях бригады среди рассыпанных камней захлопали разрывы мин, били не прицельно, мешал все тот же туман, он снова начал уплотняться, и надежда на авиационную поддержку, на вертолеты, исчезла сама собой. Для артиллерии дальность стрельбы была на пределе, духи же подошли почти вплотную, по своим бить никто не будет, это в кино шапки наголо и огонь на себя. В жизни нервы намного тоньше, это совсем не канаты... Активная стрельба развернулась на позициях газнийского полка. Наконец, втянулся в бой и батальон Строева. Пустые магазины летели один за другим, в батальоне уже были потери, но бойцам лейтенанта все еще везло. Через час у соседей резко снизилась плотность стрельбы, огонь стал одиночным, избирательным, это отчетливо слышалось в плотном воздухе — там заканчивались патроны. Моджахеды продолжали идти, это была уже третья волна. Стало не по себе.

— Товарищ лейтенант, что делать-то? — Сермягин с бледным лицом выглядывал из-за плоского шершавого камня и был растерян. — Они прут и прут.

— Не дрейфь, сержант, гранаты нам на что? — Взводный пытался улыбнуться, растянув губы, обнажив эмаль зубов, но с холодными глазами улыбка оказалась зловещей, именно это и укрепило сержанта в мысли, что все будет как надо, что другому не бывать. — Передай по цепи: стрелять одиночными, побережемся. Иди.

Был бы Платов морячком, да была бы у него бескозырочка с именем «Неприступный», «Стойкий» на околыше..., прикусил бы он ленточку... На языке все вертелась старая поговорка:

— Бог не выдаст, свинья не съест... Да, Бог не выдаст, Бог своих не выдает!

Он нашептывал себе важную мысль, словно в оправдание себе и своему автомату, который продолжал выцеливать приближающихся врагов. Было жарко. Выше, ниже по склону изредка рвались мины, широким веером, неприцельно ложились пулеметные очереди. Платов давно снял перчатки, чтобы металл на спуске стал теплее и ближе, чуть приподнялся над песчаным гребнем, выбирая очередную цель. Для духов возможен только один исход. Они должны умереть.

— Мы антиподы, они люди другого мира, они чужие. Бог не выдаст... У нас даже боги разные.

Автомат, его любимый АКС, грелся и уже стрелял неточно, но духи подошли так близко, что их доставали и рикошеты. Еще один магазин. Остался последний. Бог не выдаст... Пуля звонко ударила в тяжелый камень, вросший в гребень хребта, выбила из него несколько кварцевых песчинок и бесславно, с надрывом ушла в серое декабрьское небо. Платов сполз по склону, оглянулся на камень, которым только что прикрывал голову, отложил в сторону автомат и, подставив прохладному ветерку лицо, на секунду прикрыл глаза. Надо читать знаки судьбы, но лучше всего слышать ангела-хранителя, когда он орет в оба уха: *береги себя...*

— Фу-у, хорошо.

Что может быть хорошего, когда кокарда вздрагивает в перекрестье вражеского прицела, знал только Платов. А сегодня ему были точно известны две вещи: смерть, старая карга, промахнулась — еще не срок, но главное, что и после выстрела снайпера в нем не было страха. Навалилась усталость, захотелось сделать большой глоток воды. Было все, что угодно, только не страх, значит, война стала работой...

Минутами позже перед соседним батальоном газнийского полка моджахеды, одурманенные гашишем, с криками «Аллах акбар!» бросились на штурм. Погорячились. Платов никогда не видел раньше, как работает «Охота», система минирования, теперь же он наблюдал словно в учебном фильме, как подсаживают заградительные мины, выкашивая боевые порядки врага. Они стартовали одна за другой, они были методичны и убедительны. И тут у духов что-то сломалось, они перестали сопротивляться, может быть, просто кончились боеприпасы.

Какой тяжелый день... С флангов донеслись крики сержантов, что у них все в порядке, сегодня взвод обошелся без потерь, даже раненых не было. «Я же говорил, Бог не выдаст...» Платов, наконец, опустил автомат с последним все еще полным рожком, положил на бруствер. Потом поднял к глазам грязные мозолистые ладони, стал рассматривать, как будто видел их впервые. Синие прожилки, проглядывающие сквозь грязь, линии жизни, линии судьбы. Все дело в них? Где тут записан сегодняшний бой? Сколько сегодня расстреляно патронов, сколько пуль ушли в цель... Он хотел запомнить что-то важное. Когда шел бой, он раз за разом, как заклинание, как молитву повторял эти слова, а теперь искренне хотел вернуть их из глубины сознания, словно в них была разгадка его невозмутимой судьбы... Но как ни пытался, Платов так и не вспомнил свой короткий меморандум, свой пророческий стих. Когда шли волны моджахедов, когда сыпались горячие гильзы и мир сжимался до мушки прицела, он отстукивал его в голове, как пишущая машинка. Теперь это важное уходило, словно пожимая плечами, извиняясь за досадную оплошность.

Не стало наваждения, оно исчезло. Его сдуло, как утреннюю дымку. Осталась реальность. Есть сегодняшний день, и нет никакого другого дня. Может быть, это он хотел запомнить? И жить надо сегодня, а не когда-то в будущем, в мечтах. Нам всегда кажется, что белыми играем мы...

\* \* \*

Баграм, райское место, почти курорт. Если можно было бы загорать, раскинувшись на плащ-палатках, на байковых одеялах, подставив бледные тела азиатскому солнцу, то все женщины гарнизона давно стали бы сочными знойными мулатками, источающими тропическую страсть. Не

стреляют... Но все когда-то заканчивается, и в марте восемьдесят пятого года, в один день ближе к вечеру Баграмский аэродром подвергся массивной атаке моджахедов реактивными снарядами, *эрэсами*. Боеголовки не пробивали бетон взлетно-посадочной полосы. У них была другая задача. Несколько снарядов неразборчиво упали на стоянке самолетов нашего истребительного полка. Разлетающиеся осколки пробивали корпуса машин, топливные баки, рвали плоскости крыльев, высекали из бетона искры. Три истребителя МиГ-23 сгорели полностью. Этот день можно записать как начало нового этапа в афганской войне. В общем, духи осмелели или *оборзели*, как ни назови, у них появились новые задачи и новое вооружение. Огонь они вели из наибольшей, компактной реактивной системы залпового огня, что-то подобное нашему «Граду».

Две недели поисков не дали результата, молодую «зеленку» вокруг Баграма, помимо десантно-штурмового батальона, шерстили все: отдельный разведбат, мотострелковые батальоны двух полков из Кабула, баграмская десантура. Кишлак Карабаг, который был основной зоной поисков, вкуче с другими кишлаками-спутниками, тянулся вдоль Кабульской трассы полосой в шесть километров. Это были тысячи каменных и глинобитных домов, домишек, хижин, десятки километров дувалов и виноградников, в этом нескончаемом лабиринте пусковая установка провалилась, как сквозь землю.

— А может, правда, сквозь землю, в кяризе спрятали?

— Могли, но вряд ли, нереально.

— Как ты ее затолкаешь под землю, она габаритная.

Бойцы от безделья, от тщетности усилий изобретали любые версии. Да и духов побаивались, вздремнет такой Шакиров на посту, а духи вылезут из подземной пещеры, из кяриза — и нет Шакирова, а с ним еще кого-нибудь прикончат.

— Где эта гребаная установка? Мы третью неделю без бани, спасу нет, пора уже возвращаться, — сержант Акимов выдвинул самый веский аргумент, солдаты за время поисков подцепили в брошенных домах местную заразу и теперь кое-кто почесывался от укусов кровожадных афганских клопов. Акимов тоже не избежал этой напасти, однако его аргумент не имел никакого отношения к боевой задаче, просто сержант *сдулся*.

— Ну, вернемся, а завтра по нашим палаткам эрэсами долбанут. Под кроватью не спрячешься, — трезвый взгляд Сермягина обезоруживал и точно соответствовал его должности закомвзвода.

— Надо искать, — поддакнул кто-то из солдат.

— Надо, а мы сидим, блин, вшей кормим. Что мы тут делаем? — продолжал возмущаться Акимов, но это был риторический вопрос.

— Мы наблюдаем, — вмешался в разговор командир взвода. — Для тупых и необученных повторяю: наблюдение есть один из методов разведки. Мы наблюдаем передвижение колонн, караванов, групп душманов. Наблюдаем пуски, если такие будут. И хватит базарить. Пока не найдем пусковую установку, на базу не вернемся. Всем ясно?

На четырнадцатый день поисков и ожидания Платов, сидя в плетеном кресле на третьем этаже афганского дома, неторопливо пил чай, заваренный из отборного индийского листа. Вам такого не пить, такой густой, такой сладчайший чай бывает только на войне.

— Вот индусы, сволочи, умеют же... Что там, Шакиров?

Сверху, с крыши, огороженной невысоким глиняным барьером, громко стуча ботинками по ступеням, быстро спустился солдат-наблюдатель.

— Товарищ лейтенант, через четыре дома по переулку на крыше духовский наблюдатель или охранник.

— Как ты его нашел?

— Что там искать? Увидел. Этот черт выглянул из-за стены, по сторонам сечет, сам *шхерится*, но я его все равно вычислил. Посмотрите?

— Стоп, не высовывайся.

Взводный поднялся на крышу, прижался плечом к вентиляционной надстройке, оказавшись в ее тени. Дальность до моджахедов невелика, но надо было понять детали. Он осторожно поднял к глазам бинокль. Это скорее крепость, чем дом, вот и бача-охранник присел на корточки, автомат между ног. Выходить из тени надстройки, чтобы рассмотреть окна-бойницы и подходы к дому, было слишком рискованно, пришлось ждать движения. Из-за высокой стены дувала чуть просматривался двор с ручьем и каменным колодцем, кто-то должен был к нему подойти. Так и случилось. Через полчаса подошли два моджахеда, хорошо экипированы, во французских армейских куртках, разгрузки пакистанские, выпили воды, набрали воды в чайник. Чуть позже еще двое остановились у дальней стены, разговаривают, крепкие парни. Солнце сдвинулось к западу, в одном из окон стал виден ствол на сошках, по-видимому, пулемет, в глубине окна — еще один наблюдатель. Сколько же их всего? Много.

— Шакиров, ко мне Сермягина и корректировщика. Быстро!

— Сермягин, слушай внимательно, — быстро начал Платов, когда тот появился. — Рядом с нами духи. Хорошо, что мы засекли первыми. Никому не курить, всем встряхнуться, готовность полная.

— Гордей, — обратился взводный к артиллеристу, — тебе предстоит тонкая работа... Видишь тот дом? По нему надо отработать, очень аккуратно отработать. Кто у нас сегодня на связи?

— Батарея «Акации» артиллерийского полка.

— Значит, 152 миллиметра, хорошо. Слушай задачу. Нужен один фугасный снаряд в центр крыши. Соображаешь? Он должен пробить два этажа и взорваться на первом, чтоб все это взлетело к чертям собачьим.

— Ну, брат, — Гордей поднял бровь и даже красноречиво почесал затылок, — ну и задачки ты задаешь. Попробуй.

— Уж попробуй. Духов там много, а нас всего двенадцать, — Платов сплюнул себе под ноги. — Биться один в один мы не будем; без артиллерии дом не взять. В общем, работаем одним стволом. Вся надежда на тебя, Гордей... Сермягин!

— Здесь я.

— Взвод готов? Хорошо, — лейтенант поднял глаза на Сермягина. — Забиваем духов без тебя. Твоя задача покруче будет: прикрываешь нам спину, обеспечиваешь тыл, твоя группа блокирует дом, под прицелом окна и переулок. Если кто вырвется, в плен не брать, пленные сегодня не нужны.

— Есть, — сержант пожал плечами. — А если там пусковая установка?

— Черт, голова у тебя варит, — Платов одобрительно усмехнулся. — Договорились, берешь одного. Если обнаружим, надо будет узнать, откуда она здесь взялась.

— Гордей, что у тебя?

— Работаю. «Акация» приняла координаты, — он помолчал немного, вслушиваясь в эфир. — Они готовы.

Платов и Сермягин спустились вниз.

— Взвод, приготовиться к штурму! — лейтенант обвел солдат взглядом. — Акимов, руки дрожат?

— Немного.

— Дыши глубже. Соберись. Все будет нормально, нам не впервой... Взвод, ждем разрыва снаряда. Дальше по моей команде. По воротам и верхним окнам бьем «мухами». Бьем одновременно. Двор забрасываем гранатами. Ну а дальше... Дальше, как бог на душу положит.

— Гордей! — Платов на секунду задержал дыхание. — Выстрел!

— «Акация», я — «Гарпун»! Выстрел!

Когда тяжелый фугасный снаряд пробил крышу и рванул где-то в центре дома-крепости, Платову некогда было восхищаться работой корректировщика; дом вздрогнул, изо всех окон и щелей вырвались клубы коричневой пыли, струи глиняной крошки, посыпались обломки перекрытий, с третьего этажа в окно вывалился наблюдатель, уже мертвый. Задача взвода стала ощутимо легче. Когда вышибли толстенные ворота, пыль уже оседала, видны были рухнувшие стены, несколько ручных гранат полетели в уцелевшие окна. Через пять минут с духами было конечно, а взгляду лейтенанта под навесом среди бочек со жмыхом тутовника предстала та самая шестиствольная установка залпового огня, которую они так долго искали.

— Вот это удача, — Платов переступил через духа, припорошенного слоем свежей пыли, с недоверием пощупал руками стволы. По его лицу ползла дурацкая улыбка, сотни людей перепыхивали Баграмскую зеленку, а повезло только его взводу, только ему. — Это она, Сермягин, она. Ты угадал! Твоя чуйка сработала.

— Случайно, товарищ лейтенант, — он брезгливо покосился на убитого.

— Что морщишься? — взводный перехватил этот взгляд. — Наша работа, хм, хорошая работа. Не стой, сержант, обыщи его, пошарь в нагрудных карманах, документы и прочую *хрень* ко мне... — Он продолжал растягивать губы, придавливая Сермягина своей холодной улыбкой к земле, к мертвому телу (или это уже была не улыбка?), пока, наконец, тот не расстегнул куртку и не влез всей пятерней в остывающую темную кровь.

— Командир, Платов, — в присутствии подчиненных корректировщик, он только что выполз из развалин, называл взводного сухо, официально. — Смотри какой улов: ДШК в подвале нашли и четыре ящика с автоматами, сорок семь стволов. Крути дырку под орден, Платов, крути! А вообще-то тянет на «Красное Знамя». Вот это фарт!

— Ну, хватит стება, старшим начальникам тоже кое-что положено.

— Широкая ты душа...

— Понял я тебя. В рапорте укажу твою неопценимую роль.

Какое уж тут лукавство — Гордей одним снарядом обеспечил решение задачи, взводу осталась только зачистка. Гора трофейного оружия и опять ни одного раненого — мечта любого командира.

— Вот именно, неопценимую.

— Связь, двигай сюда, поработаем... — Связист Малевич всегда был рядом. — Настройся на частоту Богданова.

— «Марс — три», я — «Геолог», прием! «Марс — три»... — Это был позывной начальника разведки баграмской дивизии, с которой десантно-штурмовой батальон был в оперативном взаимодействии. Поиск установки залпового огня был задачей дивизии, и эта задача до сих пор никак не решалась.

— На приеме, — отозвался дивизионный связист.

— У нас результат.

— Повтори, «Геолог»! — в эфир вломился взволнованный голос Богданова.

— У нас результат! Ну и еще кое-что по мелочи, — Платов был доволен собой, легко бросать в пыль серебро, когда в другой руке сжимаешь бриллиант.

— Что, «Геолог», кто ищет, тот найдет? — послышалось одобрительное шуршание радиоволн. — Молодец. «Красная Звезда» за мной.

С другой стороны радиоволны Богданов с особым тщанием протирал стекла очков, почти медитировал. Все, нашли, и с этой ценной находкой его измученное за последнюю неделю самолюбие наконец-то было защищено. Теперь есть что доложить и командиру дивизии, и начальнику разведки армии. Да и насчет Платова надо серьезно подумать, удача — это такая хитрая дама, улыбается она не всем, только лучшим. А лучших надо ценить и отличать...

\* \* \*

Платов, пропыленный лейтенант одного из десятков батальонов афганской войны, продолжал выполнять поставленные боевые задачи, они были подобны бесконечному конвейеру. В это время в Кремле на рабочий стол Михаила Сергеевича Горбачева, нового Генерального секретаря — в Штатах его называли бы Президентом — легла аналитическая записка пятилетней давности, подписанная академиком Богомоловым и направленная им в ЦК партии и КГБ. На записке все еще значился гриф «секретно». В наследство от прежних руководителей страны Горбачеву достался Афганистан, центр притяжения ведущих политических сил, а заодно и глубокий, болезненный нарыв и в идеологии, и во внешней политике, и в экономике. Можно перечислять все стороны деятельности государства, и везде афганская тема окажется причастной и вызывающей осложнения.

Академик Богомолов хотел, чтобы его услышали, поэтому формулировки доклада отличались предельной четкостью. Представленный им отчет был сухим и прагматичным и совершенно лишен каких-либо симпатий или сожалений. Войска введены — что сделано, то сделано, вопрос в другом — что дальше? Он экономист, одним словом, тот, кто считает деньги, в казне на начало восьмидесятого года их было достаточно. Но выводы этого отчета пугали... Институт мировой экономики на ввод войск в Афганистан отреагировал быстро, ученым-аналитикам сразу же стало ясно, что эта акция советского руководства абсолютно бесперспективна и даже губительна для страны. За ней могли последовать непредсказуемые геополитические последствия и как минимум тяжелейший удар по экономике. Они обоснованно считали, что США рассчитывают навязать Советскому Союзу затяжную изнурительную войну с афганскими повстанцами. «Нас не поддерживают даже наши союзники по социалистическому лагерю...», а это худшая новость из всех. Особое значение приобретал фактор времени. «До весенней распутицы мы еще располагаем свободой маневра, с началом лета наши войска будут втянуты в серьезные бои...»

Погрузившись в отчет, Горбачев просидел над ним больше часа. Если бы все высказанные предложения реализовать тогда, пять лет назад, вопрос был бы надежно закрыт, и ситуация в Афганистане оставалась бы под нашим полным контролем. Если бы... Никто не хотел понять, что ввод



войск выльется в затяжной конфликт, собственно, в войну. Реакция арабских стран уже очевидна, никогда еще нефть не стоила так дешево — двенадцать долларов за баррель... Часть денег, которые уже израсходованы, можно было бы потратить на подготовку и содержание афганского спецназа, людей с мотивацией, их еще называют *кровниками*, они бы заменили наши войска. Укомплектовать их соответственно, наладить снабжение. Развить глубокую агентурную сеть госбезопасности, в том числе и в соседних странах. Наконец, найти слабые места в джихаде, который объявлен Кабулу, выйти на моджахедов, готовых к сотрудничеству, найти таких, заинтересовать. Все это было бы дорого для государственной казны, но все же дешевле, чем вести войну. И девять тысяч погибших... Горбачев оторвался от своих размышлений. Знать бы, где упадешь, соломки бы подстелил. Могли бы сохранить достоинство. Опоздали. Жаль, что в Политбюро в свое время не услышали Богомолова. А теперь, что теперь? Военные только вошли во вкус, вводят новые батальоны, хотят закрыть пакистанскую границу. По-видимому, это иллюзия. Войну легче начать, чем завершить. Итак, Афганистан, моджахеды...

В обиход, в документы медленно вползало это новое слово — «моджахеды», как будто душманы стали благородными воинами, и в нужный момент на их стороне стало больше правды. Для тех, кто отрезает головы и вспарывает животы, не может быть правды. Были бандитами, бандитами и остались. Страх и зверства не могут быть правдой. Хрен редьки не слаще, нам-то это зачем? Слово «враг», тот самый «душман», понятнее многих других, как черное на белом. И солдат понимает, зачем он здесь, в диком средневековье, ему не надо ломать голову, не надо сомневаться. Моджахеды, борцы за веру, были и раньше, но в ограниченном контингенте никто особенно не обращал внимания, как они себя называли, теперь это стало резать слух — значит, представление нашего руководства о войне сдвинулось...

Из короткого отпуска вернулся Булыгин. Собственно назвать это отпуском язык не поворачивался: он возил в Союз, домой, самый тяжелый груз, груз 200. И вот вернулся. Балагур и баламут продолжал шутить, как и раньше, но было ощущение, что его шутки огрубели, потеряли искру, а сам Петруха безнадежно постарел. Вечером в Баграме, в гарнизонном клубе, состоялся концерт приезжих артистов, здесь такие концерты не новость, но сегодня весь батальон был на базе, и комбат дал «добро». Платов, Булыгин и с ними третий взводный Семушкин сидели рядом по привычке, как в строю. Гвоздем программы на этот раз оказался ансамбль песни и пляски Туркестанского военного округа. Баграмская публика, лишь немногим по численности уступавшая Кабульской, заполнила зал только на две трети.

— Разболовались, товарищи военные. Такой замечательный концерт, а зал полупустой, смотри, сколько свободных мест, — в антракте Платов окинул взглядом стандартный большой ангар, оборудованный под клуб.

— Их бы, бездельников, на недельку к нам в рейд или в ночные засады, да, Вань? Как раз к воскресенью созрели бы и для песни, и для пляски, и для другого культурного отдыха, — Семушкин пытался веселиться.

— Не угадал. После нашего рейда они упали бы замертво в свои койки. Я последний раз был на концерте, наверное... Не поверишь, в Панджшере, недалеко от Астаны, и это был «Каскад». Мы шли на задачу, а на

дороге, на КАМАЗе, из динамиков: «Мы выходим на рассвете. Над Баграмом дует ветер...» Мимо боец-посыльный нес ящик кефира в палатку командира дивизии. Зацепило.

— Мне раз повезло, попал на Кобзона. Между прочим, уважаемый человек. Это он в Москве официальный рупор, а там, где жарко, статус ни хрена не спасает. Мне на дороге рассказывали, он раз шесть в Афгане бывал, в разных гарнизонах гастролировал. Прикинь, по постам на БТР с аккордеоном разъезжал, — Семушкин покрутил головой, как будто не верил сам себе. — Прямо на постах и выступал. Там десяток немых бойцов, а ему пофиг: «Сынки, Родина помнит о вас». Родина-то, может, и забыла давно, Кобзон не забыл. Раньше я не слушал его никогда, теперь — другое дело. Наш человек...

Закончился антракт, и после острослова-конферансье, сыпавшего анекдотами, на сцену вышел полноватый прапорщик и сильным сладкоголосым тенором начал выводить «Соловья» Алябьева, получалось красиво, но молодых офицеров это не тронуло.

— Петруха, ты как? Весь вечер молчишь.

— Да никак, Сема, никак. Вчера здесь Розенбаум выступал, мы на денек опоздали. У него новая крутая вещь. «...С водкой в стакане в «черном тюльпане» мы молча плывем над землей». Слышал, нет? Это про меня. Мы как прошлый раз с грузом 200 в Баграме взлетели, сразу по стакану и накатили. Летчики вместе с нами, само собой. А иначе — никак. Ты представляешь, какой смрад стоял в грузовом салоне? Вот то-то же. Девять гробов. Я пять дней в этой газовой камере находился, пока всех развезли. Сначала «тюльпан» пошел в Сибирь, потом повернул на Урал, Ленинград, потом — Украина, Туркмения, Узбекистан. Эх... Гроб, который я сопровождал... Боец, которого я сопровождал, был последним. Я всю страну облетел. Ты не представляешь, как нас везде встречали. Мы же везли смерть. В Сибири мороз, на Урале пурга, военкомы, чекисты — все мрачные, злые, полгода-год назад они призывали ребят на службу, о чести, о долге вещали, а теперь возвращают своих призывников в *деревянных бушлатах* прямо в адрес. За нашими спинами прятаться? Не всегда получается. А там, в семьях, еще ничего не знают. Ни-че-го. Правильных слов много, но что ты скажешь матери? У меня руки дрожали, такой страх внутри сидел, не передать! Ну, мы опять по стакану...

— Тут-то тебя и развезло, — Семушкин не осуждал, слушал, забыв дышать, и в принципе был рад, что не он сопровождал солдата-узбека из соседней роты.

— Развезло, и что?

— Да ничего. Был Булыга, и нет Булыги, сдулся, как воздушный шарик. — Платов тоже не осуждал, просто их приятель не сдал свой экзаме́н. — Ты хотя бы дома побывал, а мне лямку тянуть до осени.

— Иван, Сема, точно вам говорю, лучше отправиться на караван, чем еще раз возить гробы. Мать стонет, какие-то бабы воют, проклятьями сыплют! У меня в голове колокола гудят. Вы не представляете, что это такое... Пока я не приехал, был у отца с матерью сын — солдат. А тут все — нет ни сына, ни солдата. Меня чуть не прибили в этом кишлаке. Военком правильный попался. Он сам узбек, разобрался с земляками по-свойски, без меня. Отпуск, целых двенадцать дней отпуска! И на кой черт они нужны? Такое ощущение, что я сердце посадил.

— Печень ты посадил, Петруха.

— Повремените с выводами, ребята. Есть вещи и похуже...

— Есть... Когда ты сам и есть груз 200, и это тебе везут домой.

Разговор расклеился, и в возникшей паузе со сцены в последний раз вырвался и взлетел залиvistый клик алябьевского соловья.

Ряд кресел перед ними долго оставался пустым. Наконец, и его заняли, подошли уже выступавшие на сцене музыканты из оркестра. Солист исполнял следующий романс, его голос забирался все выше. И в это время ударила батарея «Град», протяжными залпами перекрыв и музыку, и сладкий голос, рвущиеся из мощных концертных динамиков. Певец на сцене не сконфузился, не остановился и как ни в чем не бывало, бодро, надрывая горло и легкие, под рев стартующих ракет продолжал держать взятую высокую ноту. В этот момент он не слышал и самого себя.

Сидевшие впереди музыканты оживились. Как работает «Град», они видели только в документальном кино, а слышать так и вовсе не приходилось, и то, что сейчас происходило здесь с ними и за обшивкой ангара в двухстах метрах на огневой позиции батареи, их ошеломило. «Мы как на фронте, — Платов слышал восторженные возгласы, — как в сорок первом на передовой». Эти сорокалетние мужики гордились такой малостью, только тем, что оказались в командировке, а их праздничный концерт освятил бог афганской войны. Отправив по дальней цели двумя установками сорок ракет, батарея стихла, и со сцены в ангар вернулся величавый и, как прежде, сладкий голос одинокого певца.

— Платов! В штаб батальона!

Отдельный десантно-штурмовой батальон, в котором служил Платов, выполнял задачи во многих провинциях Афганистана. Куда на этот раз их будут забрасывать, можно было только догадываться. Там, где горячо, им всегда находилась работа, бойцы так и шутили: место в заднице нам обеспечено. Если кто-то по незнанию смеялся, то смотрели на него сочувственно, с укором, пока у парня не начинало першить в горле... В палатке у комбата Строева уже находился куратор из штаба армии, начальник штаба батальона, начальник связи, ротный...

— Есть информация, — куратор склонился над картой, расстеленной на двух столах. — Завтра встречаем караван ориентировочно на двадцать верблюдов. Караван небольшой, но какой груз? А вот тут самое интересное: переносные зенитно-ракетные комплексы. Или наши «стрелы», в смысле, китайские, или английские «блоупайпы». Не «стингеры», конечно, но тоже хлеб. Каждому из офицеров, кто возьмет ПЗРК — представление к награждению.

— А бойцам?

— В батальоне сами разберетесь. Дальше. Полного представления о маршруте выдвижения каравана нет, на последнем отрезке духи могут разделиться и пойти разными тропами, но цель одна — Кабул, южные окрестности, район кишлака Карахоль, прилегающие дувалы, точнее, руины. Подбрасываем вас в район задачи на «броню», последние три километра своими ногами, само собой. Эвакуация — вертушками. Будем выставлять две засады на разных рубежах, ротный — к западу от кишлака, с ним авианаводчик. Комбат, продолжай.

— Слушай решение...

Взвод Платова с отделением взвода Булыгина, усиленный саперами и расчетом АГС и с самим Булыгиным, забрасывали на задачу тремя машинами. Хорошее начало. Запах солянки раздражал ноздри! Это такой парфом, мужской, брутальный, шлейф камуфляжного мира. Прозрач-

ный, горячий выхлоп дизель дрожал под встречным ветром, механик-водитель добавлял оборотов — и он становился бледно-синим. Новый движок ощущается сразу. У машин тоже есть естественный отбор, уставшие от изматывающей работы начинают чахнуть, плохо тянуть, они не живут долго. Остаются мощные, оборотистые моторы, способные побеждать на горных серпантинах, спасти себя, спасти людей, и вот уже несколько лет в Афганистан шли только новые машины, постепенно заменяя самые первые, которые были еще при вводе войск. Как-то на узкой скалистой дороге, петляющей в горловине Панджшера, заглох груженный «Урал» роты матобеспечения, его не смогли сразу поставить на ход. Блестевший новыми стеклами, зеркалами, подфарниками «Урал» оказался слабым звеном; он был новый, в смысле, только что снятый с хранения, но с ним не церемонились (следом шла большая колонна) и безжалостно столкнули в пропасть. Платов при виде картины расправы опешил, привычно сжал губы, получалась какая-то ерунда: даже грузовик, работяга, и тот отвечал на войне.

Старые воспоминания стирались. Был бы «Урал» загружен боеприпасами — и судьба его была бы другая. Не повезло. Везде то ли «орел», то ли «решка». Интересно, на чьей стороне тот, кто вбрасывает жребий? Сидит этот кто-то в партере в первом ряду, откинувшись на спинку кресла, закинув ногу на ногу, и увлеченно наблюдает ход событий, оценивает их логику. Он — режиссер, зритель? Больше подходит другое — провокатор. Какие глупые мысли. Ничто не предопределено. Тот, кто вбрасывает жребий, дает шанс. И Платову — тоже. Кто он? Он может быть кем угодно, у него много имен, однажды его назвали Воландом. И только Бог так не поступает, на Божьем лице всегда грусть, он знает, что люди слабы.

Сегодня во взводе у лейтенанта ребята, которых он не променяет на других, они проверены, от добра добра не ищут, а еще новые боевые машины, «двойки», из тех, что не подводят. Еще в сумерках машины вернутся в район сосредоточения резерва, к комбату, а взвод, спешившись на ходу, не привлекая внимания, растворится в зарослях орешника и уйдет на рубеж засады отрабатывать свой шанс, не надеясь на случайную удачу и на чужой жребий.

— Сермягин, что у тебя?

— Наблюдаю.

Сержант, державший с группой центр позиции взвода, широкую тропу, спускавшуюся по расщелине из предгорий в зеленку, по которой пройдет караван, должен был пропустить дозор, обычно это три — пять ишаков с сопровождением, и плотным огнем из десятка легких гранатометов и двух ПК уничтожить главные силы моджахедов. Другие группы образовывали дугу и разбирались с дозором и с теми, кто попытается бежать назад. Взводный тоже был в центре.

— Сермягин, не тупи, еще раз, что у тебя?

— Видимость хорошая. Движения нет. Тропа чистая.

— «Кордон — два», — Платов перешел на радиосвязь, — обстановка?

— В расщелине чисто. Ветерок в нашу сторону.

— «Кордон — три»?

— Склон хребта просматривается хорошо, Луна помогает. Без отклонений.

— Переходим на дежурный прием. Работаем по щелчкам тангента... — По условиям радиообмена, оговоренным раньше, два щелчка тангента означали «внимание», три — «готовность к бою». — Как поняли?

Группы отчитались и ушли в молчание. Рассвет уже был близок.

Ожидание душит. Но это время развязать все узлы. Можно размышлять о чем угодно. Глаза, уши, интуиция ищут текущую цель. Подкорка неторопливо копается в прошлом, просеивает его через сито, фильтрует, сталкивает картинки из разных пластов — эпох. Ему семь лет. Вот бежит кошка, белая с рыжими подпалинами, зачем-то очень надо было попасть в нее камешком. Не попал. Кошка оглянулась, переходя на бег, в ее умных глазах отчетливо читается: дурак... Двенадцать лет. Весной после таяния снега собака провалилась в котлован, заполненный ледяной водой, и не может выбраться. Они с ребятами организовали целую спасательную операцию, но оказалось, что эта дворняга не умеет цепляться за ветки, не умеет протягивать лапу, да много еще чего не умеет, может разве только скулить да поджимать хвост. Пришлось самому лезть вниз, хватать затравленную зверушку за химок, и уже его, мокрого и грязного, дворные ребята вытаскивали за руку, за воротник пальто по глинистому склону вверх. Воротник оторвали. Собака убежала, все так же поджав хвост. Мать все поняла, не ругалась... А вот и восемнадцать. Пьяная девчонка одна, без своего приятеля вышла из бара (вот чудила!), к ней пристают какие-то развязные парни, пытаются затолкать в машину, протрезвевшим голосом она зовет на помощь. А кроме него рядом никого. Вмешался. Девчонка убежала, как та собака, его несколько минут пинками гоняли по асфальту, голову он закрывал руками, а ребрам досталось. Уполз куда-то в кусты зализывать раны. На помощь никто не пришел. Теперь, вспоминая, скалил зубы. Закрывал голову — защищался. Зачем? Затем, что с самого начала чувствовал себя проигравшим. А надо бы правой — снизу в челюсть, чтобы язык откусил, левой — пальцами в глаза. Завыл бы, урод, куда бы делся. Второго в пах с носка. Третий бы сам убежал. Вот с кошкой, с той, что белая с рыжими подпалинами, нехорошо получилось, и прощения у нее не попросишь, она все равно не поймет, только посмотрит строгим взглядом, в котором опять прочтешь: дурак. У кошки девять жизней. Интересно, кошки знают об этом?

— Товарищ лейтенант. Глаза слипаются.

— Сермягин, ты командир или кто? Не спать.

— Я знаю. Только слипаются.

— Слипа-аются, — передразнил Платов сержанта. — Надо себе другого замкомвзвода подыскать, с характером. На, глотни кофе, взбодрись... Рассказывай мне что-нибудь.

— Что рассказывать?

— Что хочешь, про людей, про зверей.

— Ладно. А что у верблюда в горбах?

— Ну, ты и спросил. Попроще ничего не придумал?

— Нет, но мне, правда, интересно.

— Наверное, жир или что еще, ну, может, и вода. Верблюд — крепкий, выносливый; когда он долго по пустыне гуляет, у него горбы становятся как пустые бурдюки, сваливаются на бок. А потом доберется до арыка, до колодца и пьет, пьет, отдохнет немного, смотришь, они снова поднимаются.

— Анекдот хотите?

— Валяй.

— Крокодил Гена с Чебурашкой сидят в поликлинике, ждут приема к врачу. Чебур боится. Гена успокаивает. Тут от врача выходит верблюд.

«Гена, — шепчет Чебур, — смотри, что с лошадьёю сделали: два горба и морда табуреткой».

— Все? — На всякий случай уточнил Платов. — Хороший анекдот, только не смешно.

— Мне все равно верблюдов жалко.

— Почему?

— На рассвете подтянется караван. Мы врежем со всех стволов. Половина духов разбежится, кто соображает, вторая половина будет прятаться за верблюдами. Сами верблюды с поклажей. С какой стороны ни посмотри, они погибнут, раненые будут биться об землю слюнявыми мордами и дико хрипеть. Они заложники. Жаль зверюшек.

— Э-э, ты брось такие настроения! Не расслабляться. Твое дело выполнять боевую задачу. Мы воюем не с верблюдами, а с бандитами. Караван везет зенитные ракеты. Сколько народу погибнет, если его не остановить?

— Много. Знаю.

— Вот и не надо рождаться верблюдом, чтобы всю жизнь таскать чужую поклажу. Соображаешь, сержант?

На востоке над отрогами Гиндукуша начал неохотно сереть контур неба. Потянуло свежестью, легким, еле уловимым запахом жасмина. Шелест листьев острожно нарушил тишину, а вместе с ним (или показалось) послышался отдаленный, неясный перестук многих шагов, всхрапывание вьючных животных. Подтверждая догадки, два раза щелкнула тангента. Приятно кольнуло сердце — козырной туз достался Платову. Караван шел на него.

Булыгин со своими людьми и саперами держал фланг ближе к предгорьям, на возвышении и вступал в бой вместе с центром, отсекая каравану пути отхода; заградительные мины уже стояли. Это Булыгин подал сейчас условный знак, Платов подтвердил прием тремя щелчками.

— Взвод, к бою, — вполголоса бросил он Сермягину, — начинаем.

Первые четыре ишака в сопровождении вооруженных погонщиков степенно вышли из предутреннего тумана. Дозор. Их пропустили. Дальше по ходу ими займется Акимов, у него сегодня легкая задача. Минуты через три из-за поворота тропы появились двое моджахедов в привычных афганских паколях, в разгрузках поверх армейских курток и с автоматами на груди, один из них держал в поводу старого крепкого верблюда, доверху нагруженного ящиками с патронами. За ними шла другая такая же пара с верблюдом, а там еще, еще... Сегодня караван был небольшой, всего-то шестнадцать двугорбых, увешанных вьюками и ящиками.

Полтора десятка выстрелов из гранатометов полыхнули почти одновременно, осветив ночь факелами и выбросив в цель красные звезды трассеров. Следом ударили все четыре пулемета, что были сегодня во взводе. Слева сработали две заградительные противопехотные мины на растяжке, АГС короткими очередями, веером, отработал вдоль тропы по дальней стороне, поросшей кустарником. Справа, в отдалении, добивали дозор. Душманы не оказали сопротивления, несколько неприцельных ответных очередей — это все, что им удалось, засада была для них губительной. Ревели раненые верблюды. Два или три верблюда с поклажей между горбов, почувствовав свободу и страх, убежали в заброшенные виноградники; далеко не уйдут. Вдруг все стихло, только изредка где-то в темноте, на обочине тропы раздавались сдавленные хрипы умирающих жи-

вотных и стоны раненого погонщика, поехожие на всхлип. Сквозь легкий жасминовый запах все настойчивее пробивался смрад мертвых тел.

— «Кордон два — три», подтвердить результат.

— Я — второй, подтверждаю.

— Я — третий, подтверждаю.

Кончено. Прошло еще несколько минут ожидания — контрольных. Слушали порохи и тишину. На востоке медленно нарастал рассвет.

Ротный Свиридов доклад об огневом контакте принял и уже выдвигался с двумя другими зводами к месту боя. Это займет около часа, будет совсем светло. Ждать его не стали.

— «Кордон два — три», оставить по расчету ПК для прикрытия, остальные — на досмотр. Не расслабляться. Работаем.

Верблюд, лежавший напротив чинары, за которой укрывался Платов, судорожно дрыгал ногами, крутил глазом, блестящим в серых сумерках. При виде животного Платов сочувственно опустил автомат. Бедолага. «Заложник в чужой войне», — вспомнились слова Сермягина. В груди неприятно кольнуло: невинных всегда жаль, а добить двугорбого придется, и блестящий горячий глаз как будто просил об этом. Платов отвлекся, а тем временем из зарослей подлеска дикого абрикоса уже несколько секунд на него смотрел ствол старого китайского АК-47; душман, раненый в левое плечо, в легкое, истекал кровью, и автомат в его правой руке вздрагивал под собственной тяжестью, выцеливая свою последнюю жертву. Наконеч его ствол блеснул. Сермягин, шедший чуть сзади, увидел эту серебристую линию, контуры оружия и резко толкнул взводного плечом, убирая его с линии огня. Платов отшатнулся, и длинная очередь, уходящая вправо и вверх, первыми тремя пулями воткнулась в сержанта; первая пробила бронезилет и грудь, другие приняли рикошетом титановые пластины. Платов, пригнувшись, выставив плечо вперед, рывком приблизился к душману, придавил его ногой.

— Ну что, урод, пора заканчивать!

— Аллау акб...

Короткая очередь пробила третью пуговицу пирухана. Стрелять в голову Платов так и не научился.

— Сермягин! Жив?

Взводный опустился на колено рядом со своим сержантом, снял с него лиф-разгрузку, осторожно расстегнул бронезилет и китель, воткнул ему в бедро шприц промедола. Глаза раненого прояснились; ну вот, уже лучше.

— Держись, Сермягин, держись, — Платов наложил на рану тампон перевязочного пакета, обернул грудь бинтом. — Уже рассвет. Рассказывай мне что-нибудь, не молчи. Вертушка будет через час. Надо продержаться, брат.

— Постараюсь, — он растянул губы в вялой улыбке, никогда раньше взводный не говорил ему «брат».

Результатом удачной засады был разгромленный караван, двое пленных духов и несколько десятков ящиков с оружием и боеприпасами. Убитые душманы — не результат, это обыкновенные афганцы, поверившие в джихад, в американские и саудовские деньги; афганцы, которые ошиблись в выборе. Но вот к отрицательному результату относился свой тяжелый «трехсотый», его сержант. Ни «стрел», ни «блоупайпов» в караване не нашли. Духи проверяли маршрут, обычное дело, теперь будут искать другой путь. Карахоль их, наверняка, не устроит.

— Ты удачлив, Платов.

Широкое добродушное лицо замполита Писарева лучилось одновременно и самодовольством, и удивлением. Поневоле будешь удивляться, когда твои молодые лейтенанты, в общем-то еще пацаны, завоевывают для батальона честь и славу, совершают поступки, от которых напрягается сердечная жила, пробивает холодный пот, о которых надо книги писать. Себя в одном ряду с ними он не видел, понимал, что кишка тонка...

— Так получается.

— Как взвод, как люди? После таких передряг к ним надо присмотреться. Как бы они ни пыжились, типа, никто кроме нас, их работа — дикий стресс. Не каждая психика выдержит. Это как через колено ломать.

— Пока в порядке, я каждый день с ними, вроде бы без сбоев.

— А сам?

— Что сам?

— Ты-то как, в норме? Рассуждаем о других, а караван на тебе со всеми потрохами, то есть результатами. Хотя, *с потрохами* — точнее.

Писарев был единственным в батальоне, кто не подсмеивался над их неожиданной удачей. Не глумил. Не намекал. Но Платов все равно напрягся. Всем прочим надо было обязательно вернуть пару слов то о награбленной добыче, то о наградах, то о припрятанном браунинге. Кто-то тупо пересчитывал чужие трупы и задавался гадким вопросом: не снятся ли? Чему они завидуют? А может, и не завидуют, а просто боятся.

— Да ничо, товарищ майор, — Платов сжал зубы. — Хотите побыть на моем месте, завалить пару-тройку духов? Звездочку на грудь заработать? Поиметь свой профит?

— Я не о том, Иван, не ершись.

— Вы меня поучить решили? Ни к чему. Обойдемся без отеческой заботы, мое эго в этом не нуждается. — Он растянул губы в узкую полоску. — Работаем, товарищ майор. Стараемся на благо Отечества. Стока духов на это благо завалили, никому мало не покажется — ни Отечеству, ни самим духам.

— Стой, говорю. Не разгоняйся так быстро. Ты вот что, после ужина зайди ко мне, чайком усугубим...

Вечером Писарев в своей комнате в модуле был один; его сосед, майор из батальона связи, уже месяц прохлаждался где-то в Союзе. Ни замполиту, ни священнику, если б такой был, раскрывать душу Платов не собирался, разве что Булыгину, да и то потому, что тот был сегодня пьян и сосредоточен, и ничего бы не понял. Булыгин отмечал взятие оружейного каравана, а может быть, наоборот, поминал души усопших моджахедов, люди все же. Все чураются замполитов, они стоят на страже своего зашоренного мира; если кто-то наверху изменит инструкции, тут же изменится их мир. У них у всех хороший почерк и никогда не бывает грязи под ногтями, какое уж тут доверие.

На столе, накрытом листом ватмана, стояли два граненых стакана, открытая банка ветчины, лежали два яблока, порезанный хлеб. Писарев закрыл дверь на комнатную щеколду, достал бутылку водки. Неожиданно для замполита. Но если говорить о прожженном замполите...

— Ну что, Платов, располагайся.

— Не понял, товарищ майор.

— Сегодня ушли представления на ордена. Чем не повод?

— Так это я представляться должен.



— Получишь — протастившись... — Забулькала водка, наполняя стаканы. — Ну что, по соточке? За удачу!

Платов конфузился обществом замполита, но водка сразу дала себя знать, он расстегнул вторую пуговицу кителя, поставил локти на стол, ему захотелось спросить: ну что там, в Кабуле? Да что в Кабуле — что в Москве думают? Новый Генеральный секретарь у руля, считай, новый замполит в стране. Мысли получались какими-то не интернациональными, оппортунистическими, но именно они были самыми интересными в попытке отыскать смысл их афганской эпопеи. Как оказалось, Писарев ничего другого не знал, кроме все тех же инструкций и директив, но его, взрослого человека, на удивление, тоже настигла ностальгия, по-русски говоря, просто тоска. Не только у солдатиков скребет на душе.

— Пока учишься в школе — подросток, ветер в голове, весь мир — дерьмо, эгоизм — знамя! — Писарев прислонился спиной к стене, посмотрел в окно, за которым ветер гнал пыльную поземку. — Они думают, что делают открытия, придурки, — все давно открыто, читайте Библию. Из нового — только радио, телефон и телевизор, хотя, если подумать, то сплетни и раньше были. В общем, можно Верку, соседку по парте, дернуть за косу, кнопки училке на стул подложить или мяч после уроков погонять, а так — скукотища, ничего же не происходит. Похоже, и во всей стране ничего не происходит. В последние школьные год-два гормоны по башке шарахнут, и вертится мир как-то сам по себе, не задевая тебя никаким боком, а потом почетный ящик шарахнет тебе по весточке в военкомат... И вот тут узнаешь, что есть какой-то другой мир, трудный, чужой, и в нем происходит что-то... Пока не читаешь газет, дышишь ровно и спишь спокойно. Пока не стал военным — тебя ничего не касается. Но в один не очень прекрасный день вдруг тебе сообщают, что террористы убили спортсменов-олимпийцев, что американцы со своих линкоров расстреляли Ливан, лагеря беженцев, что в Иране захватили заложников. Как будто весь мир сошел с ума! Однажды просыпаешься солнечным зимним утром и узнаешь: мы в Афганистане. И понимаешь, что мир повернулся к тебе задней или круче того, весь мир — задница. И что делать с этим миром? А ведь как все хорошо начиналось: и Верка с косой, и училка с кнопками... Где это все? Страх перед будущим, скажешь? Не угадал. Это начало судьбы, когда все, что происходит вокруг — это уже твое, личное. Значит, не отвертеться.

Писарев замолчал, и Платову стало неловко, замполит оказался нормальным мужиком, все, что он сейчас говорил, было именно его личное.

— Штаты бомбили тропу Хошимина, по телевизору показывали горящие деревни, мертвых детей. По дороге бежала голая девочка, обожженная напалмом, ее лицо кричало от боли. — Платов выхватил картинку с самого дна памяти. — Мне было десять лет, но я не забыл. Говорите, начало судьбы? Может, и так.

— Зацепило. Значит, не зря снимают кино. — Писарев перегнулся через стол, приблизил лицо. — Тебе стало страшно, страх порождает ненависть. Ненавидишь американцев?

— Людей? Нет. — Платов задумался, кого же он тогда ненавидит? — Тех, у кого самодовольные рожи, мать их... Мирового господства захотели!

— Платов, ну ты заводной! — Замполит развеселился, потянулся за стаканами.

— Они же везде бряцают оружием, они всех презирают, у них к че-

ловкеу нет сочувствия. Вот схлестнуться бы с их зелеными беретами в настоящем бою, навалить им дюлей, чтобы юшка потекла. Дружок у меня все мечтал об этом, — морщина раздумья резанула переносицу лейтенанта, у майора при этом дрогнула рука, пролив хлебную водку мимо стаканов. — Вон десантура, соседи наши, завалили месяц назад где-то под Желалабадом пакистанского спецназера, взяли с него разные иностранные побрякушки и винтовку М-16 в придачу. А может, спецназер штатовский? По физиономии не определишь, а сам уже не расскажет. Вот это действительно враг... Я тут подумал... У меня туго с логикой, те двадцать духов, что мы завалили, они ведь моей стране не угрожали. По большому счету, это мы им угрожаем. Они свою афганскую кашу варят, как умеют, в другие страны не лезут, это же их разборки, восток, однако. Я советский офицер, русский офицер, и не хочу, чтобы они меня сравнивали с гребаными американцами.

— Платов, стой! Твои мысли потеряли берега. Тему закрыли. Закрыли, говорю! — Замполит со стуком поставил стакан на стол, так, что водка плеснулась на ватман (да что ж ей сегодня так не везет?) — Каша тебе афганская не нравится. Вот я устрою завтра политзанятия вместо личного времени. Когда моджахеды возьмут власть в Афганистане, если возьмут, конечно, хорошенько ее переварят, насытятся, в какую сторону они посмотрят? Ну? В нашу сторону, в нашу, на север. Ждать будем? Восток — дело тонкое, задолбали вы уже с вашим Суховым. Ничего тонкого, все грубо и прямолинейно.

— Прав был Булыгин, пить надо со своими, — Платов негромко бормотал себе под нос, пока замполит произносил свою тираду, чувствовал он себя изрядно подшофе и куда-то, как назло, делись все веские аргументы, — опять договорились до политзанятий. Еще строгача влепит и по партийной линии, и по беспартийной...

Последнюю фразу Писарев все-таки расслышал и вдруг рассмеялся. Его попытка поговорить по душам да под водочку, этакое комиссарское новаторство, обернулось идеологической диверсией. Наверное, он не знал, что пьют со своими или с равными, а Платов, командир взвода, чернорабочий, не был ему своим и не был равным.

Сегодня была почта. Явление несистемное, поскольку зависит от погоды, от вылета бортов из Кабула, от того, где рота блуждает в эти почтовые дни. На койке Платова лежало сразу три письма с разными датами на штемпелях — три ниточки из другого мира, три кровотока от корневой системы.

Два письма были от матери. Обычные конверты с адресом, написанным неровным почерком с твердым нажимом. Мама — самый дорогой в мире человек. Она пишет своему Ванечке каждую неделю, хочет прикоснуться к нему, схватить за руку и не отпускать, а письмо — как дым, как ветер: только бросила в почтовый ящик, и нет его, какое уж тут за руку подержать. Он в ответ лишь отписывается, мол, одет, обут, накормлен — все в порядке. В первом письме в начале содержался неловкий отчет о погоде. «...погода плохая. Клубника на даче не уродилась — такие сегодня новости. — И тут же без перехода: — Лариса, Лара твоя, со мной не живет. Неделю у нас дома побывала и убежала к матери. Зачем тогда прописывалась, улыбочки строила? Я не писала тебе, а мне обидно. Мы с ней давно не виделись. Звонит иногда, когда от тебя долго нет весточки. И на том спасибо. А вчера видела ее в кафе с подружками, наверное, с одно-

классницами. Веселая была. Сделала вид, что меня не заметила». И тут же второе письмо. «Сынок, прости меня, я не должна была тебе рассказывать про Ларису, ты же на войне...»

Платов опустил голову, рассматривая узор на афганской циновке в своей комнате. *Ладно, мама, не винись. Приеду — разберемся...* Малые занозы тихонечко саднили душу. *Ерунда все это — нет ничего ценнее жизни, а все остальное приложится. У меня стали шершавыми руки, и душа теперь шершавая. Что мне кафе с модными коктейлями? Мне бы холодного кефира и горбушку черного хлеба с солью, да десять часов сна без сновидений.*

Было письмо от Кости Лугового. Ребята иногда, раз в полгода, напоминали о себе, писали; обычно ограничивались короткими новостями, писали адреса для связи, реже — номера телефонов, вот и Костя проявился, и это оказалось полноценное письмо на несколько страниц плотным почерком. Закончив с мамиными переживаниями, Платов быстро пробежал его глазами. Задумался. Потом начал читать снова.

— Нет, Костя, — он невольно вздохнул, — пожалуй, я сначала посплю, а завтра днем разберемся, что же с тобой приключилось.

Луговой хотел стать спецназовцем — Луговой стал спецназовцем, он знал, как идти к цели и умел это делать. Он мечтал стать рукопашником — освоил основы самбо и каратэ, мечтал прыгать с парашютом — двадцать прыжков им уже сделаны, мечтал стрелять из всех видов оружия... У него были какие-то выполнимые мечты, на самом же деле мечты почти всегда несбыточны. И вот на столе лежит длинное письмо от далекого, почти забытого друга, похоже, одним мечтателем в мире стало меньше.

Платов убедился в этом очень быстро. В письмо сразу после дежурного приветствия, почти без перехода, хлынуло упадническое настроение. «Ваня, все так ловко складывалось, я думал, жизнь удалась, эх, если бы не этот гребаный личный состав... Понимаешь один человек пришел в армию сам, по убеждению, выполнять свой долг, служить, другой пришел по чужой воле. Повестка в военкомат для него — чужая воля. И вот они встретились... Мне иногда кажется, что большая масса молодых людей не знает, что такое Родина, что она нуждается в защите. Для них она как фантом, как абстракция, и свой солдатский долг они считают ложью, которую придумали где-то в коридорах власти. Их гнилое нутро не может простить своей Родине, что она отняла у них бутылку портвейна, а заодно и два года их непутевой жизни. Так кто же ее будет защищать, если припрет? Рассыплется она, как карточный домик... Как это случилось? Почему на службу они идут, как в зону: одни — с ужасом, другие — с блатной бравадой, третьи... Нормальных солдат не так много. Я уже год в Венгрии, смотрю, как тут живут люди. Скоро придет «Куин» с концертом, представляешь, *квины* в Будапеште! Тебе бы понравилось. Только теперь я понял, как много нам запрещено, военным — тем более. Что там в Библии? Запретный плод сладок. Непознанное притягивает... Это так, мои мысли, хочется чего-то другого, чтобы душа взлетела, хочется гордиться своей страной, хочется настоящей работы, чтобы понять свое назначение...»

Платов сидел за столом, перечитывая мысли своего друга, перемешивая со своими мыслями. «Вот это Костя, вот это бред! Однако, сильно его *торкнуло*, наверное, долго думал, перед тем, как написать такое. Те, о ком он пишет, его солдаты, просто предатели, а у предателей нет родины. Но

даже их предательство имеет значение только потому, что они предадут Великую Страну. Про бутылку портвейна это он лихо загнул, образно. Как же он до этого дошел, неужели Венгрия так мозги вправляет? Воистину, страна народной демократии. Тот парень в Туркмении из пристанционного магазина с толстым прессом червонцев, он — кто? Какая у него родина? А если Костя прав? Нет, не может такого быть, просто и его наваждение закончилось, это надо пережить... В Афганистане все проще, здесь все расставлено по боевому расчету. И Родина здесь ближе, чем в Москве. Слабые и тупые в Афгане не выживают. Если во взводе нет потерь, значит, как минимум командир чего-то стоит (вот-вот!) — а я потерял Сермягина, своего ангела — хранителя, как раз из-за своей тупости. Если бы не сержант, сидел бы уже на белом облаке, свесив ножки, поглядывал бы на суетную землю, на Костю Лугового, на то, как он ищет свою линию жизни. Читаю письмо, а думаю о своем: *пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою*.

Спрятав письмо в конверт, Платов сложил его с двумя другими, задержал взгляд на полузабытом домашнем адресе. *Вот так, мама, здесь мир рушится, а ты говоришь, невестка из дома ушла.*

В этот раз разведку местности перед выставлением засады Свиридов проводил сам. В роте — новый командир взвода, лейтенант Кочубей, не так давно прибывший из Союза, его нужно было срочно вести в обстановку, наставить на путь истинный. Молодой, шустрый, с веснушками и вздернутым носом, он везде совал этот нос, хотя ротный при каждом удобном случае повторял: «Витя, поперед батьки не лезь, блин!» Куда там! Обуреваемый романтикой и приключениями, о которых он начитался у Фенимора Купера, Витя рвался в бой, пока однажды Платов как старший товарищ — старше на целый год — не спросил у него в лоб: «Кочубей, ты прямо скажи, чего больше хочешь, убить кого-нибудь или чтобы тебя убили?» Обычно бледное под шапкой рыжих волос лицо молодого лейтенанта вдруг стало пунцовым, в такой плоскости перед ним вопрос никогда не стоял. «Дар речи потерял? — ухмылялся матерый взводный Платов. — Отвечай, молодой, ну? Надо определяться». Молодой предпочел промолчать. Он входил в курс дел и уже две недели был рядом с Платовым, таскался с ним по кишлакам, перевалам, сопровождал колонны, и вот теперь предстояла первая по-настоящему боевая задача.

Засаду выставляли у пустующей каменной школы на окраине Чарикара, крупного по афганским меркам города, с пыльными улицами, с двухэтажными домами, множеством дуканов, торговых лавок, по сути — крупного кишлака, только без больших наделов земли под виноградниками и кукурузой. Рядом со школой петляла широкая тропа, по которой в Чарикар на закате и по ночам заглядывали местные моджахеды, они и были объектом засады.

Свиридов со взводом Платова вышел к назначенному рубежу заранее, и потому все было немного валяжны, жара утомляла. Лето в Афгане имеет другой смысл, не то, что в Смоленске или Владимире, а тем более июль — это время выживания. Солнце било почти вертикально и, наверное, поэтому встреча с моджахедами вот так, внезапно, лицом к лицу, казалась невероятной. Свиридову до замены оставалось всего два месяца, это тоже имело значение, ему бы вообще не соваться в Чарикар, близость дома выбивает из седла, мешает сосредоточиться. Кочубей, прикрываясь ротным, чувствовал себя только стажером, наблюдателем и не напрягал-

ся. Он и не знал еще, когда надо напрягаться — чайка не созрела. Наприсвишься в засаду как на прогулку, батальонный комсомолец Ковтун опять вытирал со лба пот и уже жалел, что напросился. Связист... А что связист? Он стоит за правым плечом командира, ждет команды и уж он точно знает, что от него на этой войне ничего не зависит, кроме связи, разумеется. Платов с бойцами взвода обследовал школу, оба этажа, класс за классом, оценивал секторы стрельбы из окон, ориентиры, пути отхода, ему предстояло остаться и поработать здесь ночью. В ожидании доклада Свиридов остановился перед школой, приложив ладонь к глазам, осматриваясь. Платов уже шел к нему.

Дух появился неожиданно из-за угла школы и какого-то черта он был готов к встрече, а они — нет. Обычный афганец в паколе, надвинутом на самые брови, в безрукавке поверх легкого пирухана, с неопрятной бородой, густой, черной, значит, не старый — с мозолистыми руками, пальцами с обломанными ногтями, в которых замер старый АК со сложенным прикладом. Дехканин, землепашец, случайный прохожий на неслучайной войне, прижался спиной к стене школы. В глазах был не страх — удивление, переходящее в растерянность, что вот так, вот так нелепо, и шурави... Патрон был в патроннике, ему оставалось нажать на спуск. Длинная очередь на весь магазин ударила внезапно и бестолково, автомат вздрогнул, запрыгал в непослушных руках, изрыгая пули, гильзы, пороховую гарь, и вдруг замер... Последняя гильза ударила в стену, завертелась на отмошке и затихла в пожухлой ильюзской траве. Он стрелял с пяти-шести метров, практически в упор, но все шурави остались живы.

Когда началась стрельба, Платов еще находился в школе. Он рывком бросился к угловой комнате и сквозь окно увидел картину как будто из замедленного немого кино: офицеры, связист в замешательстве ощупывают себя, не понимая, что произошло, Свиридов сдергивает с плеча автомат, перед ним спина замершего в прострации Кочубея. «Витя!..» Всегда расторопный Ковтун, остался безоружным, пуля срезала ремень автомата. Дух уже тянется за вторым магазином, он опасен, он все делает быстрее. Все это Платов видел на линии огня. Оставалось одно — с ходу прикладом он ударил в створку окна и по пояс провалился в оконный проем, чтобы сверху достать духа. Отреагировать тот не успел. Ствольная коробка автомата сдавила ему горло, ломая кадык; душман, выпучив глаза, захрипел, он сопротивлялся, цепляясь за жизнь, но вот медленно разжал руки, так и не подсоединенный магазин скользнул вниз, и короткая очередь, выпущенная Свиридовым, вошла уже в мертвого...

— Здесь духи! — орал ротный. Это и так было понятно, но его рык действовал устрашающе на всех, и когда в соседних кустах орешника десантники натолкнулись на других моджахедов, те были полностью деморализованы, похоже, и вправду обычные афганцы, не боевики, но солдаты на войне не должны разбираться, чья кровь правильнее, и они не разбирались.

Стало удивительно тихо, со стороны Саланга потянуло прохладой. Упасть бы в траву у ближайшего ручья и слушать его неторопливое сонное журчание про тысячу и одну ночь.

— Кочубей, — Платов сидел на камне, привалившись к стене и не выпуская из рук автомата, по его лицу блуждала усмешка, больше похожая на оскал. — У тебя был реальный шанс убить кого-нибудь или быть убитым, а ты все спустил в унитаз.

— Что-то совсем не смешно, — Кочубей уже взял себя в руки.

— Почему не смешно? У меня все внутри вздрагивает, ржу — не могу. Не дрейфь, Витя, это было отличное приключение. Как у Фенимора Купера. Ирокезы откопали топор войны, в ответ brave английские солдаты перебили краснокожих аборигенов. Ну, и скальп удалось сохранить.

— Ты как, Иван? Сказки рассказываешь, — Свиридов грузно облокачился на притолоку выбитой двери. — Ты просто черт, в нужное время в нужном месте. Орден за мной, слово офицера. До замены успею. Эх, замена, приеду домой — напьюсь. Ладно, иди посмотри, как твои бойцы задачу отработали — семь тепленьких душков. Просто красавцы. Ну и Ковтун им слегка помог.

— Кто красавцы?

— Да бойцы твои. Хорошее воспитание. Молодец, старлей.

— ...?

— Уже три дня как старлей. Приказ подписан...

Приближая срок окончания длительной командировки, незаметно подкралась осень. Платов сидел в курилке, вытянув ноги, всматривался в черное полотно неба, в яркие ночные звезды, они дрожали, заставляя все больше и больше напрягать глаза и забывать о себе самом. Может быть, в них зашифрован секретный код, ключ к смыслу жизни? Зачем же еще они нужны людям? Может быть, подскажут, что там с судьбой? Он уже ротный вместо Свиридова, тот так и не дождался сменщика, пришлось помочь командиру. Звезды все видят, они беспристрастны, они подтвердят, что Платов этого не хотел, не осудят его за тщеславие. В центре курилки, выложенной крупным угловатым камнем, горел небольшой костерок, пожирая щепу от артиллерийских ящиков. Платов иногда подбирал колени, сжимался, как пружина, отрывался взглядом от Большой Медведицы, устремляясь в желтую дыру огня. Он не делал зла, в нем никогда не было зла, и перед собой он был честным, но в этот момент ему стоило бы посмотреть в зеркало, чтобы увидеть, как напряжено его лицо, как сжаты полоски губ. Если на язык обывателя перевести менторскую фразу: «ничего личного — бизнес», окажется, что последнее слово легко заменяется на другое, пусть будет «долг», может быть «обязанность». Словом можно играть, но суть не изменишь. «Ничего личного» — цинизм, вот где суть, этот обрывок фразы, как стальной сердечник пули, не меняет своего смысла. В том, что мы здесь делаем, тоже нет ничего личного? Самообман. Личного становится все больше с каждым боевым выходом, Афган всасывается в кровь, в память, в кончики пальцев, которые сжимают автомат. Вначале была идея, красивая идея, миф... «Вот мы и вернулись к началу, круг замкнулся. Где ты, Стрелец? Как ты?» Платов всматривался в звезды, в черную пронзительную бездну, вопрошал к случайному знакомцу Стрельцу, отмерял свой пройденный путь. «Ты оказался прав. И самые чистые родники наполнятся алой кровью. Да, лирика, но если долго смотреть на звезды, увидишь Млечный Путь».

Платов мог бы стать космонавтом или спортсменом, инженером или археологом, даже бухгалтером-экономистом, все пути были открыты, но в то лето он стал военным, как и сотни тысяч других молодых парней. Кто это сделал с ними? Такое было время, оно всех готовило к войне, оно ожидало войны, война висела в воздухе, как легкий шлейф от сожженного пороха. А Свиридов сказал, что он — черт, который оказался в нужное время в нужном месте. Эти слова были правдой.

«Теперь, Стрелец, я на твоём месте, и даже выше — ротный. Учю молодых выживать на войне, пока справляюсь. Они такие же, как я полтора года назад. На войне взрослеют быстро. Они уже знают, как живые становятся мертвыми. Им бы понять главное — за все придется платить, возможно, уже поняли».

Небо оставалось великим и звездным, на земле играли тени от костра. Огонь пожирал щепу, обломки досок, обрезки строительного бруса, разгорался ярче. Подошел незнакомый офицер, постоял молча. Его глаза казались большими, оттого что на лице в поднятых бровях, в ресницах словно бы застыло удивление или невысказанный вопрос. Он впился взглядом в огонь, потом подошел ближе, опустил перед огнем на колени, протянув к нему руки, а потом обняв ими себя.

— Здорово, бача!

— Здорово, коль не шутишь, — не оборачиваясь, ответил ночной гость.

— В командировке?

— Мы все тут в командировке. Временщики.

— Ну да, точно подметил. Откуда будешь? — спросил без большого интереса, по инерции, и ждал такого же будничного ответа.

— Из Рухи.

— Пехота! — Платов оживился. — Раньше я там многих знал. А ты как, давно в полку?

— Да, в общем... полжизни. В мае прошлого года комплектовали первый батальон, была история.

— Знаю. Много тогда офицеров потеряли, не повезло им.

— Не повезло. Невезучий батальон, — слова прозвучали обреченно, как неизбежность. — Неделю назад мы замерзали на леднике в ущелье Шутуль. Тупо. Бездарно. Несколько человек из приданных сил замерзли насмерть. В нашей роте почти у всех ноги, руки, лица обморожены. Черные! Зачем? Вскрытие погибших делали, у них, у мертвых, дистрофия кишечника. Понимаешь?

— Ты что, серьезно? Опять первый батальон?

— Значит, ты еще не слышал, — он как-то опустил плечи, погас, растворился в темноте. — Бой местного значения... Чистой воды подстава. Кто-то в штабе штаны протирает, кто-то до последнего исполняет призыву. Неправильная война...

Безымянный старлей из первого батальона продолжал смотреть на огонь. Что он видел в коптящих языках пламени? Понятно, что... Что жизнь лишена смысла.

— Неправильная война...

— Только сейчас понял?

— Так нельзя командовать, — он разомкнул руки. — Какая-то сволочь, типа нашего Павлова, дает приказ батальону занять ледяной хребет и ждать, ждать. А сам идет спать в теплый блиндаж. Он даже не знает, что люди двое суток без пайка, голодные, в леднем обмундировании. Конец октября, там высота выше трех тысяч, почти четыре, температура *минус* и ветер. Там постоянно дул ветер. Надо вытаскивать людей с ледника, надо принимать решение, но никто не может достучаться до его мозгов. Идет война, гибнут люди, а его нет на связи.

Старлей замолчал, и в ночной тишине сквозь негромкое потрескивание костра было слышно, как он скрипнул зубами.

— Там люди замерзли, — он снова обхватил свои худые плечи. — Мы

по-разному воюем, одни — до обмороженных ног, потому что их учили не сдаваться, другие — до следующего рубежа на бумажной карте. Война — это не издержки какой-то там политики, это страдания и смерть. Ты понимаешь?

— Бача, не хочу с тобой спорить, тебе крепко досталось, но еще война — это работа. Бывает такая работа. И мы с тобой на нее подписались. — Платов немного помолчал. — Слушай, как вы оказались раздетыми? На трех тысячах в октябре зима. А что комбат, он тоже был в курсе?

Ему вдруг стал неприятен этот странный офицер из Рухи, беспомощный, издерганный человек, который не понимает своей роли на войне. Это у него, командира, голодные солдаты, это он оставил их без зимней амуниции. Может быть, в словах гостя и была правда, но сама скрытая мысль, что всегда виноват кто-то другой, вызывала у Платова отторжение. Он давно разучился сочувствовать людям.

— Ты мерз когда-нибудь по-настоящему, так, чтоб до костей?

Старлей вперил в Платова пронизывающий взгляд, для него это был риторический вопрос, слов же своего собеседника, его последнего вопроса он не слышал или не хотел слышать. Не хотел слышать и ответа. Никто не мерз сильнее, чем он, обжигая до черноты кожу, вымораживая суставы, сухожилия, пальцы и сам мозг, в котором до последнего мгновения пульсировала воля. И эта воля требовала стоять до последнего.

— Мерз, — Платов со взводом бывал в разных переделках и не догадался промолчать.

— Ни хрена ты не мерз! Ты не знаешь, что это такое, когда из тебя медленно-медленно уходит жизнь, и ты это понимаешь. А всего-то надо броситься бежать. Бежать не останавливаясь. Чтобы согреться, чтобы унести ноги отсюда к чертовой матери. А приказа нет. Ротный сначала орет, потом просит, потом еле шевелит губами... Он такой правильный, он ждет приказа, он угробит всех, но будет ждать приказ, а этот урод, командир полка, плевал на все наши жизни, ему нужны именно такие офицеры, которые готовы стоять насмерть, выполняя приказ. Насмерть, понимаешь? И я знаю, что убежать нельзя... От судьбы, от войны не убежишь...

Он снова повернулся к огню, так и смотрел на него, пожирая его широко раскрытыми глазами, все так же обнимая свои худые плечи и совершенно не понимая, что он делает на этой войне, в этой стране.

— В Афган нельзя посылать карьеристов, им нельзя давать распоряжаться чужими жизнями. Это такие холеные, циничные твари, они все готовы оправдать какой-то военной целесообразностью, на самом деле они, не отклоняясь, идут к своей личной цели. Неправильная война. Слишком много предателей. Знаешь, что страшно? Они не считают себя предателями. Их жизнь — карьера, их война — это шанс. Если война не за Родину, то и предательства не может быть. Политбюро лукавит, значит, и другим можно, так ведь? Это не Павлов привел сюда тысячи пацанов, то есть воинво-интернационалистов, а значит, ему все равно, что с ними будет дальше. Война все спишет, война всех спишет.

— Слышь, бача, тебя как зовут-то? — Платов никогда и не думал, что предательство так близко, он не встречался с ним лицом к лицу, и сейчас едва удержался, чтобы не зевнуть, и к месту или не к месту подумал, что они с этим парнем даже не знакомы.

— Марат.

— Меня — Иван. Вот и отлично, обменялись приветствиями. Марат, ты что, видишь во всем заговор?



— «Так и хочется мне заглянуть в амбразуру, — снова не ответил на вопрос, протянул он низким хриплым голосом или завыл, как одинокий волк, сразу не поймешь. — пулеметом глушить по России печаль...» Тоска, какая тоска, невыносимо, ты же должен меня понять. Хотя... Ничего ты не должен. Я тут с земляками выпил немного, наверное, перебрал. Мне иногда кажется, попался бы этот Павлов на линии огня, убил бы.

Все неслучайно, и эта встреча тоже. Исподволь или как, но Платов понял, что обязан что-то сделать с этим офицером, встряхнуть его, вернуть на землю, на войну. Тот никогда не ставил перед собой цель победить, никогда не побеждал, наверное, ему не везло. «Хм, надо чаще пить за удачу, приятель. Вот такой неординарный вывод... — Платов думал о своем. — Я из тех, кто не сдаст своих бойцов, но я и сам такой же боец, которого раз за разом зажимает в жерновах. И Свиридов не сдаст. И Строев не сдаст. Нет никакого заговора. Просто есть люди, которые плохо выполняют свою работу».

— Переводись-ка ты, парень, в наш батальон, в ДШБ. У нас тут, конечно, бывает жарко, оттого и текучка. Зато люди — кремень. Ну?

— Ты серьезно?

— Когда проспнешься, не забудь наш разговор. Напишешь рапорт, а там — куда кривая вывезет. Есть проблема — надо решать. Под лежачий камень, сам знаешь...

— Подумаю.

— Думай, только недолго. — Платов оценивающе посмотрел в лицо новому знакомому. Решится? Нет? Обычный пьяный треп или больше, чем треп? — Что нового в Рухе? У соседей?

— Нового? — Марат встрепнулся, но так и не оторвался от огня. — Не знаю. У каждого батальона своя война, мы редко пересекаемся. Так, иногда, на утреннем разводе. Мы вот два месяца как снялись с постов охранения, тоска была смертная. Я сидел на скале, под «Зубом дракона», лучше бы назвали гнездом орла.

— «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем...»

— Завидуешь, что ли? Можно было повеситься от этой романтики. Мы завидовали тем, кто внизу, в теплом блиндаже. Что ты хотел услышать?

— Да так, о ребятах. Как там Александров?

— Уже полгода, как ушел в разведбат. Воюет.

— Рыжаков?

— Начальник штаба тоже воюет, жив-здоров, слава богу. Кстати, у нас первый Герой Союза. Капитан Гринчак, командир разведроты.

— Знаю. Без обеих ног. Слишком высокая цена за героя, это не по мне. Жаль парня. Кстати, у меня дружок был, давно о нем ничего не слышал, Джавид, из третьего батальона.

— Джавид? Джабиев? — Марат нахмурил брови.

— Да, он самый.

— Так нет его, уже давно. Подорвался на mine, тоже без ног; отошел от наркоза в медсанбате, увидел себя такого и не захотел жить. Так говорили.

— Когда это было? — Платов почувствовал себя неловко. Как будто был виноват, что он так долго ничего не знал о своем товарище.

— В прошлом году, в конце мая. Я только пришел в полк.

— Красавчик был. Зря он...

— Может, и зря. Человека под инструкцию не подгонись. Чтобы жить, силы нужны. Устал он. Вот такие новости, все больше дерьмо.

Марат посидел минуту, глядя на огненно-розовые угли, молча поднялся и, не прощаясь, ушел, словно его и не было.

Платов остался один. Чтобы он сам делал на месте этого затравленного взводного? «Да не буду я никогда на его месте!» Легкая мысль освежила душу. «Мы разные, он ищет правду там, куда она никогда не придет. Моя правда до неприличия проста — враг должен умереть...» В прошлом году, в декабре, Платова вместе с его правдой выцеливал снайпер, и какая-то добрая глыба афганского базальта спасла его, приняв на себя оубойную снайперскую пулю. Его смущало только одно — базальт был именно афганский; как оказалось, эта окаменевшая земля не была ему враждебна. Зачем-то она сберегла его. Наверное, и на чужой земле наше дело правое. Только вот не хватит нас на все неправды.

\* \* \*

Апрель в Баграме выдался сухим, жарким, в общем, праздничным. Пост сдал! Замена! Многие ли знают, что это такое? Да бог с ними, с теми, кто не знает... Жарко, солнце в зените, на синем небе ни облачка. У штаба дивизии непривычно много людей, чувствуется, что в Афганистане стало спокойнее, все больше прибывает командировочных, кто по делу, отработав отдельную боевую задачу, проверяет готовность войск, кто за карьерой, за случайным орденом или хотя бы за отметкой в личном деле, мол, был, присутствовал, удостоен высокой чести. Боевые офицеры — пыльные, грязные — смотрели на московских или ташкентских гостей обыденно, с презрением, но как бы они ни скрипели пылью на зубах, это была данность. Или мода. Служить в армии и не побывать в Афгане, где наш контингент седьмой год бился против империалистов — это, по меньшей мере, было близорукостью.

«Снимусь с партийного учета и завтра первым же бортом домой... Слово-то какое мягкое... — домой». Платов с интересом и иронией наблюдал, как очередной хлюст, только что прибывший из Союза, в повседневной форме, в португее, в фуражке с красным околышем и высокой тульей, наклонившись, носовым платком(!) до блеска начищал глаженные хромовые сапоги. Что-то в этом гренадерском облике, в крепких фактурных ягодицах показалось Платову знакомым. Офицер выпрямился, он был высок, светловолос, хорошо подстрижен, с развитой спиной...

— Вовка? — крикнул он, не вполне осознавая, кого же он увидел у штаба дивизии. Офицер обернулся. — Старый! Ну, конечно, это ты!

— Иван!

Они бросились навстречу друг другу: за три прошедших года Стародубов стал еще мощнее и больше, и Платов просто провалился в его объятия. — Старый, ты чего так вырядился, здесь так не ходят, какими судьбами?

— Я только вчера из Союза, толком еще не осмотрелся. Назначен командиром комендантской роты дивизии, — не без гордости, играя бровями, произнес Стародубов. — Ну?

— Это теперь вся трасса от Кабула до Саланга твоя. Ты теперь крутой начальник, и сапоги сверкают соответственно... — Они рассмеялись. — Но держись, дорога спросит. А я свое отпахал, полный срок, от звонка до звонка, как один день, уезжаю, завтра борт на Ташкент.

— Вот так всегда, только увиделись и — расставайтесь.

— Да, ничего, ты всегда оптимистом был, быстро освоишься. Народ здесь боевой, понятливый, в курс дела введут, ты, главное, сам не теряйся.

— Понял, не дурак. Знаешь, что?.. — Стародубов секунду подумал. — Я к вечеру разгробусь с делами, на ужине встретимся, а после посидим, у меня тут армянский коньячок по случаю с собой.

— Ты настоящий комендач, хозяйственный!

— Ну, тогда по рукам!

Бутылка с тремя звездочками на этикетке всегда к разговору, всегда кстати, она согрела душу, и какой там в ней плескался коньяк, стало уже не важно.

— Старый, помнишь, на втором курсе мы с тобой боксировали? Я шел, как на заклятие. Но три в челюсть левой успел провести, пока ты своей длинной меня не достал.

— Ну и как?

— Обалдеть. Я думал, что сознание меня покинуло.

— Да я не сильно.

— Знаю, но все же я улетел в угол... Ха-ха-ха...

— Хватит воспоминаний. Прожито, как отрублено. Расскажи, что у вас тут?

— Хм, теперь — у нас, привыкай. Ты хочешь, чтобы я тебе в двух словах рассказал о шестилетней войне? Нет, не выйдет. — Платов словно споткнулся о свой собственный вопрос; на самом деле, что здесь главное? — Шесть лет, почти семь — это большой срок, столько всего произошло. Теперь, Вовка, это твоя война.

— Давай, не томи.

— Ну, слушай! Был у меня товарищ, Семушкин. Был. Год назад духи сбили в Панджшере вертушку — их часто сбивают — рухнула в какую-то расщелину. Что с экипажем, непонятно. Подняли по тревоге взвод Семушкина — вытаскивать. Спасение экипажей как раз наш профиль, привлекают.

— Ага, никто, кроме нас.

— Его взвод десантировали за километр, дальше — ногами. Мы почти всегда работали в зеленке, а тут почти голый хребет и видимость на тридцать километров. Непривычно это, не ждал он *подлянки*. А духи все рассчитали, они знают, что мы на войне своих не бросаем, мы обязательно придем даже за мертвыми.

— Откуда им?...

— Ну, ты их за дикарей не держи. Мы — шурави, у нас есть присяга, у афганцев — «пуштунвали», кодекс чести, так что они знают, что мы придем. Сему встретила засада, взвод попал под плотный огонь. Пока спасали экипаж, восьмерых потеряли. Вот такие расценки на войне, понял, куда попал? Спасение дорого стоит, ангелы просят за спасение большую цену, ничто не происходит просто так.

— Ты... веришь в ангелов? С каких это пор? — нового комендача не задела смерть неизвестного ему Семушкина; заноза под ногтем задела бы больше. У него все было впереди, а пока он ерничал. — Ваня, партия коммунистов-материалистов не простит тебе отступничества.

— Ну, душа куда-то же отлетает? Вот был человек, вот нет человека, остались смердящие останки. Разница? В этом и разница — минус душа. Похоже, что ты все поймешь. Бог эту душу в человека вложил, а такой,

как я, ее вынул. — Платов передернул плечами. — Страшно. Отвечать придется.

— Много дел наворотил? — Стародубов наконец-то насторожился.

— Много — немного, все мои. Давай, Сему и его бойцов помянем.

— Я же их не знал.

— Ну и что, ты перекрестись да и выпей. Им там полегче будет, они ведь туда не с чистыми руками отправились, — Платов посмотрел куда-то вверх, прикрыл веки, улыбнулся сжатыми губами. — Да и нам... здесь. Давай, за ребят.

Выпили. Помолчали немного под хруст пересоленного огурца.

— Шурави... А на Западе нас всех называют русскими, хоть ты немцем будешь, хоть евреем.

— Так и есть, Старый. Пока идет война, мы все русские, а после снова наденем свои национальные шкуры, станем хохлами, армянами, молдаванами, будем ездить друг к другу в гости.

— А грузинами?

— И грузинами.

— А эстонцами?

— Не-ет. Пока до эстонца дойдет, что он был русским, много пройдет времени, не успеет позвать

— С войной понятно. А кроме войны? Восток все-таки, экзотика.

— Можешь, конечно, в Кабуле на базаре купить арабский кинжал с камнями, или персидский ковер с минаретами, или японскую технику, на худой конец. Это да, только война здесь и есть самая большая экзотика.

— Вань, могу тебя сильно расстроить, но в Союзе тема войны, тема Афгана не популярна, там — перестройка. Переходим на хозрасчет. Надо вертеться, вертеться, хозяйничать, одним словом.

— Ты изменился, Старый, деловым становишься, хватким.

— Ну, так жизнь не стоит на месте. Прошлым летом познакомился в Сочи с местными армянами. Цеховики. Они не сидят, как мы, на окладе, и не рискуют жизнью. Заколачивают длинные рубли под южным солнцем

— Тогда ты попал в десятку. И южное солнце, и дорога, которая кормит. Но смотри, афганцы не любят перестраиваться. Они средневековые консерваторы, у них XIV век на календаре. Купи-продай — это их любимая тема.

— Короче, с афганцами можно дружить.

— Нужно. Только некоторые афганцы — это обычные духи, бандиты, и у них са-авсем другая торговля.

— И чем они торгуют?

— Ну, ты совсем меня не слышишь. Главное — чем платят. А вообще, Вовка, странная у нас встреча. Я ухожу, ты приходишь, не знаю, что тебе пожелать. Не дрейфы! Это — главное. Все остальное приложится. Надо верить себе и тем, кто рядом. В одиночку не выживешь.

— Разберемся, Вань. — Стародубов снисходительно улыбнулся, обнажив крепкие белые зубы.

— Володя, ты опять меня не слышишь.

— Вань, слышу. Ты свое отработал, тебя уже исключили из списков части, а ты все горишь на работе синим пламенем.

— Я уже сгорел, одни угли остались, с меня хватит. Хочу, чтобы у тебя было все нормально.

— Будет, я фартовый.

Стародубов снял с головы франтоватую фуражку, повертел в руках, рассматривая тулью, алый околыш, блестящую кокарду, от него пахнуло коньячным амбре, смешанным с легким запахом незнакомого одеколona.

— Держи. Твоя. Сейчас в Союзе такие в моде. Мне девчонки в военном ателье подогнули, веселые такие, шустрые. Я в примерочной перед тем, как брюки померить, так боком встал, поднапряг ягодичную мышцу, мне всегда удавался этот прием, ну, дальше ты знаешь... В общем, носи, у тебя впереди Союз, встречают по одежке, надо выглядеть.

Ну что, действительно конец эпопее? Дальше-то как жить без Афгана? Перестройка, хозрасчет, Стародубов, который собрался вертеться. Бардак какой-то. Или я чего-то не понимаю? Домой, домой, а там разберемся...

#### Эпизод 4.

### ВО МНОГАЯ МУДРОСТИ МНОГО ПЕЧАЛИ

Таксист мне попался разговорчивый, азартный. Пока ехали от аэропорта до центра Алма-Аты, он успел пересказать почти все мировые новости последнего времени: и про наш Чернобыль с радиоактивной пылью в Киеве — парень все ругал власть, что скрывала правду; и про американский «Челленджер», взорвавшийся на взлете, при этом он зло потирал руки; и про чемпионат мира в Мексике... Здесь водитель возмутился до крайности, бросил руль, вскинул руки, как для проклятья, ударил ладонью по приборной панели. Видимо, у него долго не было слушателя, то есть пассажира, и теперь он с полной отдачей отрывался на мне. Запах агрессии в салоне машины смешался с запахами бензина, мускуса, пота, и даже утренняя прохлада с верховьев Алатау, врывающаяся в приоткрытое окно, не остужала страстей. Все как обычно: ничего хорошего в мире не происходило.

— У нас была лучшая сборная по футболу за последние годы. Мы венгров шесть — ноль натянули, фантастика! После победы над Францией проиграть какой-то занюханной сборной Бельгии, это ни в какие ворота!..

— Так мы проиграли? — наконец-то я втиснулся в его бесконечный монолог. Последняя новость была самой свежей и изрядно подпортила настроение и мне: как-никак, в детстве я тоже гонял мяч на школьном стадионе.

— Ты что, не знал? — он ткнул пальцем в автомагнитоу. — Все утро *трындят, задолбали*. Нас засудили, понимаешь? Враги. Это не чемпионат мира, а турнир дворовых команд. Судья испанец два гола бельгийцев из офсайда засчитал, а наш гол, настоящий гол, отменил. Как это называется?

— Как называется?.. Подстава.

— Во-от! Подстава! Но разве так бывает, чтобы два гола! Два! Один еще спорный, а второй — чистейший офсайд!

— На дорогу смотри!

— Смотрю, смотрю... Да и что спорный, он уже прошел защитника. Э-эх... У нас лучшая команда была за последние годы. Мы могли чемпионами стать.

Я сидел в такси, как в радиорубке, где телетайп непрерывно отсутствовал ленту новостей. Сообщения сталкивались друг с другом, отскаки-

вали, как бильярдные шары, не совмещаясь, словно подсказывая: надо уметь скрывать свои чувства, беречь (для других людей их не существует), уметь скрывать то, что считаешь важным, твои дела — это твои проблемы, и кто-то ничего не хочет о них знать, кто-то просто боится твоих проблем. В большом мире совсем другая повестка дня... О многом успел рассказать возмущенный таксист, и ни одним словом он не обмолвился о войне, которая была здесь совсем близкой, с которой мне еще надо было вернуться, вдохнуть этой другой жизни, а для начала — добраться до своего нового гарнизона. Надо уметь забывать или хотя бы делать провалы в памяти, проваливаться в эти провалы.

Впрочем, таксист — он только перевозчик, и совершенно ни в чем не виноват, на то он и таксист.

Генерал Крашнин, крупный, солидный мужчина, с гладкими зачесанными назад волосами, восседал за широким полированным столом и пытался быть открытым, демократичным — все по Горбачеву. Мне тоже предложили сесть за приставной столик; в армейской среде это был исключительный жест, обычно младший по званию стоит с прямой спиной, пока хозяин кабинета излагает мысль. Значит, действительно что-то сдвинулось, и предстояла доверительная беседа.

— Ну, объясни ты мне, почему вы все такие после Афгана! Что вы такое о себе думаете?

Вот так, без предисловий, прямой правой в голову, как в боксе — я только неловко отшатнулся, изобразив недоумение. Собственно, изображать, выдумывать не пришлось. Было очевидным, что меня обвиняют, унижают, например, как негра, за неподобающий цвет кожи.

— Что молчишь?

— Я не понял вопрос, товарищ генерал.

— Да что тут понимать: кого из вас ни возьми, все с характером, никто служить не хочет... Служить, как положено, — его лицо с приподнятыми бровями отражало возмущение, удивление, он старался быть искренним, на самом же деле стирал меня с лица земли, заменяя обобщением, штампом, клише, как будто лично меня уже не существовало. — А ты сам как служить собираешься?

Начало разговора немного обескураживало. Вчера днем я прибыл в штаб дивизии в Тарбагатае, небольшой городок на востоке Казахстана, полчаса как получил назначение; еще ни с кем здесь не был знаком, кроме администратора гостиницы. Ну, с чего Крашнин решил, что вот так внезапно я открою ему свои мысли? Где-то там, в их глубине, темно-розовыми шрамами тлели следы моей боевой работы и вместе с ней вопросы, на которые многие месяцы не было ответов. Их нет и сейчас. Там, за моей спиной, не все просто, но я не собирался этим ни с кем делиться. Генерал же решал свои ребусы... Его танковая дивизия прикрывала азиатский регион от вторжения китайской армады, он сам при этом благополучно выстраивал карьеру и теперь преодолел очередную необходимую ступень в отдаленном степном гарнизоне. Не мог же я сказать ему, генералу, напрямую: поезжайте, попробуйте решить хотя бы одну боевую задачу, ответить за неизбежные потери, например, перед трибуналом или перед родителями погибших. Не мог. Служба моих солдат в Афганистане была настоящей службой, мужской работой. Это не то же самое, что ходить строем по плацу, стоять в наряде, чистить картошку на кухне. Афган и Союз, разделенные не только границей — это разные миры с раз-

ной ценой жизни, с разницей сущностью. Это вообще нечто различное, несовместимое. Как антиподы (где-то я уже слышал это странное слово), но как ни трудно, именно эти миры надо было совмещать.

— ...Согласно присяге и уставу, товарищ генерал. Готов к выполнению любых боевых задач.

— И ты туда же! — воскликнул Крашнин, впрочем, он всего лишь пытался быть открытым. Перед ним был строевой офицер, вернувшийся с войны, которую он, генерал, ошибочно считал только длительной командировкой, его внутренний компас молчал. — Каких боевых задач? Да не надо мне твоих боевых задач! У тебя личного состава будет тридцать человек, с ними попробуй найти общий язык.

— В Афганистане я командовал подразделением полного штата, — пусть простит меня Крашнин, но здесь я незло улыбнулся. — Вместе со своими бойцами отработал десятки операций, дважды награжден орденами, в личном деле все указано. У меня не было проблем с личным составом. Бойцы меня понимали.

— Бойцы, говоришь, — генерал усмехнулся необычному слову, набычился. — Еще добавь, что твоим бойцам было чем гордиться. Было, согласен, несли службу на переднем крае борьбы с империализмом. В том-то и дело, а здесь им что? Рутинка, два года разгильдяйства в ожидании дембеля, кругом дерьмо? Борьба за дисциплину главнее боевой подготовки? Это мы уже слышали.

Крашнин расалился и сам этого не понял, по его высокому лбу, по свежему загорелому лицу пробежали морщины, его обуревали неразрешимые внутренние комплексы, он не хотел идти на контакт, хотя должен был делать ровно противоположное — просто побеседовать с офицером, прибывшим в его дивизию. Я молча сидел, глядя прямо перед собой, досадуя на нелепость ситуации. Служба не задалась с первого дня, но я смутно догадывался, что дело не во мне — главным здесь был карьерный рост генерала и столь необходимый ему, как золотая жила, Афганистан, в котором ему так и не довелось послужить. Наверное, и хорошо, что не довелось, не наломал дров.

— Ладно, высоко себя несешь, старлей, я понял. Завтра тебя представят личному составу, вот и продемонстрируешь накопленный боевой опыт, а я за тобой присмотрю, — Крашнин не смог сдержать гримасы, и была она почему-то ядовитой, или мне только так показалось...

Заканчивался апрель, я тогда только пересек границу и с размаху, раскинув руки, окунулся в ташкентский зной. В полдень было жарко, как в Баграме, но это была другая жара, домашняя, которая не обжигала, а грела. Рейсы на Москву, аэробусы уходили каждые два часа, как электрички, и я был очень удивлен, когда дама в кассе предложила мне вылет через три дня: а более ранние рейсы билетов уже не было. Раз так, я мог спокойно заняться поисками Чеснокова, после своих ранений он несколько месяцев отлеживал бока в госпитале, по логике, должен был идти на поправку. Перед отлетом домой хотелось пожать руку старому приятелю, обнять напоследок; кто знает, когда еще свидимся, да и свидимся ли?

За последние шесть лет Ташкент стал прифронтовым городом, и госпитальный квартал здесь знали все жители, кого ни спроси, поэтому нашел я его быстро. За КПП оказались зеленые парковые аллеи со старыми, не раз перекрашенными скамьями, с цветущими клумбами, с газонами, которые в этом году еще не подстригали. Аллеи давали много тени

и свежести; в их неухоженности, в шероховатости асфальта, в огрубевших стволлах дубов и чинар чувствовалась притягательная замшелая древность, которая помнила еще первого генерал-губернатора Кауфмана.

— Честный! Здорово, бродяга!

Я бросился было его обнять, я хотел, но кроме знакомых черт постаревшего лица, кроме большого лба, очерченных скул, я ничего в нем не узнавал, и это сломало мой самый первый порыв. Чесноков лежал на госпитальной койке, на мятой, выстиранной в хлорке простыне, страшно исхудавший, желтый, с железной конструкцией на левой ноге, он пытался казаться бодрым, но его виноватая гримаса все испортила.

— Вань, ты? Здорово... — он на мгновенье опустил глаза, смутился. — Вот видишь, какой я теперь...

— Вижу, что тут поделаешь? — я продолжал по инерции улыбаться, как-то сразу решив, что корчить кислую физиономию не буду, пожал протянутую руку, сел рядом с ним на белый табурет. — Меня вот пронесло, пару раз попадал под раздачу, но обошлось. Ты-то как?

— Карабкаюсь. Раньше эти железки, — он положил руку на блестящие металлические стяжки, — аппарат Илизарова называется, на обеих ногах были, один уже сняли. Тяжко. Меня в Асадабаде, считай, по частям собирали, не до хорошего было — лишь бы выжил, а привезли сюда — стали кости заново пилить. Оказалось, срослись неправильно. Вот и лежу, как ватная кукла; больше всего бесит, что в туалет самому не сходить. Уж сколько месяцев. Никак не привыкну.

Чесноков поморщился, отвернул осунувшееся лицо к стене, окрашенной в больничный голубой цвет, помолчал, другая свобода была ему недоступна. Я оглянулся по сторонам. В палате было уютно, насколько это возможно в госпитале. Сбоку, через проход, стояла еще одна кровать с металлической конструкцией на спинке, она была не заправлена, хозяин где-то отсутствовал. Радиоточка в углу негромко вещала пожелания трудящихся в рабочий полдень, на подоконнике в полусвете томился фикус, в приоткрытую форточку стекал пряный апрельский воздух. С детства не любил больницы; лучше уж быть в окопе, чем в уютной палате, тем более что изо всех углов, отовсюду пробивался устойчивый запах ненавистного мне лизола, смешанного с таким же ненавистным запахом хлорки.

— А еще бесит, что все, кто заглядывает ко мне, вроде тебя, сочувствуют, жалеют, блин, как неполноценного уroda, — резко выдохнул Чесноков, все так же уставившись в стену.

— Ну, извини, Честный, что сочувствую. По-моему, это нормально. Рефлексируешь, как барышня. Тебе сейчас что ни скажи, во всем упрек слышишь, а между прочим, руку мне крепко пожал.

— Да вот гантели под кроватью, занимаюсь.

— И то дело. Так что за год, пока ты здесь мучаешься от безделья, мог бы этой рукой написать книгу по прикладной философии, ну, например, как жить и как выживать. Сколько мыслей потеряно!

— Издеваешься. Какая, к черту, книга? — он повернулся ко мне лицом.

— Помнишь нашу главную кафедру? А ты все говорил: дзюдо, дзюдо... Все течет, все изменяется. Диалектика, однако. Весь мир с этим согласен, кроме тебя. Твоя личная диалектика проста, как валенок. Самую нижнюю точку ты уже прошел, изображаешь? Нет? Хуже, чем было, не будет.

— Ты что меня грузишь, философ? — Чесноков разозлился, но как-то не по-настоящему. — Как был заумным, так и остался.



— Бери выше — практикующий философ... — Я расслабленно положил руки на колени, повернул мозолями вверх, сжал пальцы в кулаки, разжал. — Вот эти руки три дня назад держали автомат, в них пороховая гарь, за жизнь не отмоешься, а ты пытаешься меня уколоть. Расскажи лучше, как все было.

— Да как... Тупо. — Он снова поморщился. — Помоги, подложи подушку под спину.

Когда я управился, он поудобнее сел в кровати, облокотившись на спинку, и начал рассказывать короткую историю своей войны.

— Мы возвращались из Кабула, до нашей базы — до Асадабада — оставалось всего ничего. БТР, на котором я ехал на броне, подорвался на фугасе; меня, как отбивную — о камни. Слава богу, санинструктор не подкачал, ноги жгутами перетянул, кровь остановил. Дальше? Дальше не помню, отключился. Уже потом узнал, одна вертушка, что колонну сопровождала, взяла меня на борт, через полчаса был на столе, а там — два командированных хирурга из Москвы. Они корпели надо мной несколько часов, кости собирали. Спасли. Вот, собственно, и все. Все кончилось. Как теперь жить — не знаю...

— Может, оно и так, но люди как говорят: Бог дает испытания — дает и силы их преодолеть.

— Не успокаивай.

— Очень надо. У тебя еще тот характер, в смысле, спортивно-боевой, не поверю, что ты так легко сдулся.

— Сдулся, блин... От меня один скелет остался, нет больше мастера спорта. Уволят подчистую, по здоровью. Дальше-то что?

— Чудак человек. Твоя воля к жизни, этот твой «мастер» до сих пор держат тебя, загнуться не дают. Помнишь Игорька Якубова?

— Всех помню, его особенно.

— Конечно, не лучший пример: Игорек потерял ногу при подрыве — отняли выше колена, но он продолжает служить в военкомате в Барнауле, нашел свое место.

— Он нашел. — Чесноков поджал губы и снова отвернулся к стене. — Это по его прихоти я отбываю здесь свой срок.

— Брось. Каждый сам проживает свою судьбу. Якубов — только обстоятельство.

Говорить на одном языке с человеком, у которого переломано и отбито все тело, чертовски трудно, если не сказать, что невозможно. Он меня не понимал.

— Да-а, только обстоятельство. Так, изгиб пути, перекресток. Да, Вань? — Чесноков скривил лицо, он не хотел упрощать. — Выберешь не ту скорость и уже в кювете. Вот и я... А то, что кто-то подставил подножку, не в счет.

Он смотрел на металлические стержни и кольца, как смотрят на свои пожизненные кандалы. Убийственный взгляд. Я не отвлекал его от мрачных мыслей и молчал вместе с ним. В повисшей тишине за дверью палаты, в коридоре, послышалось движение, шарканье ног в больничных тапках-шлепанцах, то и дело поскрипывали кресла-каталки тех, кто не мог передвигаться сам, звенела алюминиевая посуда, негромко постукивала гнутым колесом тележка, на которой санитарка развозила еду для лежащих.

— Больные, первая смена, обед! Обед! Не задерживаться, и посуду не задерживать!

— У вас обед в две смены?

— Да, еще с прошлого года, как поток из Афгана попер. Кто поправляется — в другие госпиталя, на реабилитацию, на их место — новые. В общих палатах тесно, только у меня номер люкс на двоих... — Он скосил глаза на соседнюю пустую постель. — Режут сейчас парня в операционной...

Тележка с гнутым колесом остановилась у палаты, а в дверь, толкая ее задом и держа в руках поднос с тарелками, заглянула санитарка.

— Чесноков, как ты здесь, один? Грустишь? А-а, гость у тебя, ну и хорошо. Принимай обед. Утку потом выпростаю.

— Да пустая она, — досадливо отозвался Чесноков.

— Ну и хорошо, что пустая, ну и ладно. Вы тут пока разговаривайте, а я потом, потом.

— Вот это и есть теперь моя жизнь, — негромко произнес Чесноков, когда они снова остались вдвоем. — А все началось с Якубова. Изгиб, скорость, кювет — это после. Причина и следствие, так кажется? Судьба, блин. В итоге вся жизнь коту под хвост.

— Честный, похоже, я ошибся. С философией у тебя порядок. Только ее надо подкорректировать, ну так, самую малость... — Я противоречил своему приятелю, я натянута улыбался. Он должен был понять, что логика есть во всем. — Ты пойми, после подрыва рядом с тобой оказался толковый санинструктор, кровь остановил. Не каждый бы смог. Вертушки сопровождали колонну — повезло, сразу на борт... Ну, а московские эскулапы — это вообще высший пилотаж... Они сохранили тебе и руки, и ноги. У кого еще были такие совпадения? Должен же быть во всем этом какой-то смысл! Не может быть, чтобы не было смысла...

Вопрос, неловкое замешательство застыли в морщинах на высоком лбу моего однокашника Чеснокова, и я уже смелее заканчивал свою парадоксальную мысль.

— Расслабься, Честный, у тебя началась другая половина жизни...

Афганистан преследовал меня, сопровождал, заставлял возвращаться назад, он был точкой отсчета, пересечением осей координат, корневищем, из которого росла моя жизнь. Если я начинал о чем-то долго размышлять, так или иначе снова возвращался назад. Не было никакого синдрома, о чем в запале написала комсомольская газета, но был, как эхо вдогонку, изувеченный и закованный в железо Чесноков. Это чтобы я никогда не забывал, насколько мне повезло.

Я захотел отодвинуть Афган как можно дальше от себя, чтобы раз за разом не приходилось доказывать новым сослуживцам, что я тот самый, кто прошел огни и воды и какие-то несуразно гремящие медные трубы. Начальник политотдела прислал корреспондента дивизионной газеты, пришлось выдумывать лубочные картинки из жизни мирных дехкан-афганцев; замполит полка с ходу озадачил меня подготовкой лекции о боевых армейских буднях, я как-то сумел ограничиться скорпионами, дико хлорированной водой и чисткой оружия в условиях пустыни; в общем, замполиты расстарались. Комбат Батурин, высокий красавец с большим самомнением и заодно мой непосредственный командир, снисходительно окинул меня взглядом, покачался с пятки на носок, стоя перед строем офицеров, вытянул в раздумье губы.

— Говоришь, десантно-штурмовой батальон, а теперь — пехота, ну-ну...

— Никак нет, товарищ майор, ничего я не говорю.

— Ничего не говоришь, ну-ну... — Он снова вытянул губы. — Тогда подбери двух солдат, найди покрупче, поспоровистей, и в рамках тактической подготовки проведешь показательное занятие. Будете преодолевать полосу препятствий со стрельбой из положений лежа, с колена, в общем, с эффектами, добавь немного напалма, пару взрывпакетов. Личный состав батальона должен увидеть, как это делается в бою, а то мы тут в тылах совсем закисли. По времени не ограничиваю, надо уложиться до начала дивизионных учений. Задача понятна?

— Задача понятна. По мере готовности доложу.

— Ну-ну...

И только замполит моей новой роты Павел Исаков, взрослый человек и изрядный пессимист с большими залысинами на умной голове, после всех поставленных задач взял меня осторожно под локоть:

— Слушай, командир, давай выпьем что ли, что мы, как чужие.

— А давай! Отправим пехоту на ужин и врежем по соточке под огурчик и под разговор. Заодно и познакомимся поближе.

Соточкой разговор не ограничился.

— Паша, ты такой аккуратный, правильный, аж тошно, боишься испачкаться о солдатское дерьмо?

— Правильный? Ну да, работа такая: поднимать моральный уровень, укреплять воинский дух. Солдат — это боевая единица, защитник Родины; случись что, его автомат должен быть вычищен, пристрелян, и сам он готов к бою. А что на самом деле? Стоит такое чучело с замашками дембеля, ремень ниже пояса, сапоги гармошкой, ключи от каптерки на пальце крутит. Еще усмехается. Да плевать он хотел на службу, на нас с тобой. Какой из него защитник? В первом же бою в штаны наложит.

— Вот я и говорю, боишься испачкаться. Не бойся, замполит, вся жизнь — дерьмо, только это понимаешь не сразу, а в самый-самый неподходящий момент.

— Ты об Афгане?

— Эх, Паша, Паша, Афган — святое место. Все лучшее там утраивается, а мерзость, подлость становится клеймом на всю жизнь. Никто не забудет, никто не простит... В соседней бригаде был случай: дух-снайпер подранил нашего бойца-механика, когда тот из горящего танка выбрался, прострелил ногу и никого к нему не подпускает, другой боец бросился на помощь — снайпер одной пулей в грудь уложил пацана. Механик на открытом пятаке, истекает кровью, стонет; только пошевелиться — снайпер пулю рядом кладет... играетя, сука. Рядом много ребят за камнями, и никто не может помочь. На твоих глазах умирает человек, молодой, полный сил, такой же, как ты сам. Что должно в тебе происходить? Вот что?

— Не знаю, — Исаков неуверенно пожал плечами, хотя мог бы не отвечать, вопрос был риторическим, неудобным. Все равно не ответишь.

— Наливай, что сидишь, расскажу, чем история закончилась, а то вы тут, племя комиссарское, плесенью покрываетесь, героизм в сорок пятом году черпаете. Другого за сорок лет так и не нашли, не захотели. Может, вам это и не нужно.

— Дальше-то что? — икнул Исаков, боясь, что я замолчу, и он не узнает, что стало с бойцом-механиком.

— Все то, — я хватил полстакана водки, скривился от выпитого, занюхал рукавом и долго не мог начать, сомневаясь, стоит ли выдавать по-

стороннему мую афганскую тайну. Исаков — он неплохой парень, но он посторонний и замполит к тому же... — Техник роты, прапорщик, у которого этот механик служил, простой мужик, обычный работяга, еще нестарый, не мог смотреть, как умирает его солдат, и не мог терпеть своей беспомощности, не выдержал, бросился к нему, встал перед ним на колени, как перед иконой, растопырил руки, закрыв бойца от снайпера. Кричит ему, мол, давай, давай, ползи! В это время в него вошла первая пуля. Он уже не кричит, а хрипит: «Ползи, сынок, я долго так не простою». Еще две пули его пробили, он стоял, держался, как будто и вправду это был его сын, его кровь. Потом рухнул мертвый. Вот это и есть Афган...

Взгляд замполита потерял твердость, стал неловким, скользнул по угловатым предметам армейского интерьера, ища защиту в темных углах ротной канцелярии, пальцы на крышке стола отстучали торопливую дробь. Все, что он сейчас узнал, было неожиданно, не умещалось в голове. Распространяемые по линии политаппарата портреты героев-афганцев с короткой справкой о подвиге отдавали казенным формализмом, нафталином. Кто они такие, все эти Акрамовы, Аушевы, Запорожаны, Солуяновы?.. Наверное, они хорошие ребята, но они не защищали Родину, и верить в справки под их портретами было необязательно. Необязательно до сегодняшнего дня. И вдруг я влез в его жизнь со своим застольным рассказом о прапорщике, который никогда не станет плакатным героем.

— А что с солдатом? Солдат выжил?

Честная, добросовестная натура Исакова спонтанно сочувствовала жертве. За сочувствие не спросят. Еще бы! Но эта же натура проскальзывала мимо подвига, объяснить который не могла. Мы всегда на стороне тех, кто нуждается в защите, мы так устроены, мы готовы их спасти в любой точке мира, но мы так и не узнаем, откуда берутся герои.

— За его жизнь заплачено дорого... Наверное, выжил.

Какого черта мои глаза стали мокрыми? Я уже не хотел продолжать разговор, и зачем вообще я связался с замполитом? Захотелось его обидеть, так обидеть, чтобы он сам понял, кто он есть, копнул себя поглубже, перестал быть чистоплюем в белых перчатках, чтобы навсегда запомнил наш разговор.

— Ты бы так смог? Ценой своей жизни? — я приблизил к нему свое лицо, по которому ползла пьяная издевательская усмешка, смотрел ему прямо в глаза, смущая, не давая соврать.

— Ну, знаешь, — он произвольно развел руки, поднял глаза к потолку, а потом как-то сник, опустил плечи, и негромко произнес: — Нет, я не смог бы, нет... Надо быть готовым, внутренняя готовность должна быть, решимость; этот прапорщик, этот человек, он особенный, да? Он как Александр Матросов.

— Значит, ты — офицер, замполит, и не готов? Ну и чем ты лучше того дембеля, который ключи на пальце крутит? — я с любопытством посмотрел на Исакова. — Он живет — похвастывается, ты живешь — пописываешь. Быстро ты сдался.

— Зато честно, я же не браввирую. И при чем здесь дембель?

— Честностью гордишься? Или малодушием?

— Зачем ты так? — Исаков оторопел. — Мы сидим в теплой канцелярии, пьем водку и... разве это просто — подставить себя под пули... Как ты можешь так рассуждать? А ты сам?

— Замполит, канцелярская твоя душа, ты даже подумать не захотел, страх в себя впустить, пощупать его ребрами... А я сам... Помнишь пес-

ню... И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет твое мгновение.. — Я поискал глазами стакан, жаль, он оказался пустым. — Вот пусть сначала придет это мгновение, а там... Там разберемся. Не сомневайся.

Может быть, я был слишком пьян и от этого возбужден, может быть, мне дико не хватало моего Афганистана, но в этот момент я точно знал, что разберемся; ведь Сермягин, мой сержант, разобрался, смог, он даже секунды не думал, он просто сделал свой шаг навстречу автоматной очереди. Зачем он это сделал?..

В дверь канцелярии постучали.

— Да!

— Товарищ старший лейтенант! Дежурный по роте сержант Тимиров! Рота с ужина прибыла, какие будут указания?

Я только знакомился с личным составом роты и откровенно разглядывал дежурного, моего подчиненного. Мало сказать, что он был необычным, он был похож или на монгола, или на китайца, но поскольку ни те, ни другие в нашей армии не служили, значит, мог быть кем угодно.

— Все по распорядку дня и... Задержись, сержант, возьми табурет, сядь. — Он сел. — Как тебя по имени, Тимиров?

— Эркин. Ребята зовут Эрик, однако.

— Откуда, из Тувы, из Бурятии?

— Не-е, я — якут, мой дом в Нерюнгри.

— Срок службы?

— Хм, дембель, однако, — Тимиров заулыбался, и его голова стала напоминать колобок из русской сказки, так что и мне стало весело.

— Как служится, дембель? Хотя, что я спрашиваю... однако...

На столе у окна, чуть прикрытая занавеской, все еще стояла початая бутылка водки, и я заметил, что он задержал на ней взгляд.

— Любишь огненную воду? — мои слова предназначались сержанту, а подействовали на замполита, его глаза заинтересованно раскрылись и стали трезвыми. Он никогда не спрашивал так просто о простых вещах.

— Нет, товарищ старший лейтенант, мне нельзя. Буду пить — стану алкоголиком. Мама расстроится, однако.

— Самый удивительный ответ из всех, что я слышал. Скажи мне, Эркин, Эрик... Мы тут с замполитом обсуждаем одну тему. Скажи, что для тебя Родина?

— Родина? Ну... Это мой дом, моя семья, вот ребята.

— Ответь тогда и на другой вопрос. Ты готов отдать за Родину жизнь?

— За свой дом? — Он встал с табурета, посмотрел странным взглядом на меня, потом на замполита, потом снова на меня, как бы оценивая, достойны ли мы ответа, и, видимо, решил, что командира уж точно обманывать нельзя. — Я готов.

— Иди, Тимиров, свободен. Для роты все по распорядку.

Дежурный по роте ушел, за дверью началось брожение, топот и шарканье сапог, с выпивкой надо было заканчивать. Я посмотрел на Исакова, но тот еще долго сидел хмурым и озадаченным.

— Значит, вся эта история, та, что ты рассказал — правда.

— Ты что, замполит? Ты сомневался?

— Нет, мне сначала показалось, что это легенда, миф, ну такой военный эпос. Наш брат военный иногда, э-э... утрирует...

— То есть, привирает.

Я хотел по-настоящему, со злостью обидеть его, а получилось, что это

он меня обидел пусть даже не намеренно, совсем случайно, как-то по-детски.

— Читал про двенадцать подвигов Геракла? Миф? Классика! Герой, сын богов, не знающий своего рода-племени. Удобный герой, европейский, весь мир им восхищается, он безупречен, практически неуязвим. Так вот, тот прапорщик не был Гераклом. Он знал, что умрет. Это так, для справки.

— Извини, я не должен был... А как его звали?

— Наши герои безымянны, — я почти скрипнул зубами, лицо не то от водки, не то от стыда наливалось краской. — Это не моя история, и этого парня я не знал. Хотя какая тебе разница, если ты не веришь.

До начала дивизионных учений продемонстрировать, что такое полосу препятствий в жизни, то есть в бою, не удалось. Эшелоны с боевой техникой разгрузились на Семипалатинском полигоне, полк стал лагерем среди степей и сопок; где-то здесь, не так далеко взрывали ядерные заряды, и, наконец, пришло время моей роте показать, к чему она готова.

В первой паре бежали лейтенант Чиженко со своим механиком-водителем азербайджанцем, тот плохо говорил по-русски, но был очень легким, подвижным, как настоящий горец, что не отнять. Заместитель командира взвода сержант Абишев бежал с Ивановым, молодым солдатом со вторым разрядом ГТО, мы с Тимировым были последними. Судя по стову, в забеге участвовал настоящий, полноценный интернационал, сразу не поймешь, кто здесь кто, обычное дело. Большому кораблю — большое плавание, большой стране... — большой шейкер для перемешивания народов. Ну, наконец-то таджик и грузин выучат русский, поговорят между собой, а заодно спросят у эстонца или латыша: *как дела, боец? Ремень подтяни, молодой.* Каждый из них в отдельности — малая частица, пылинка в потоке ветра, все вместе — большой неповоротливый Союз. В данном случае было важно, как этот интернационал преодолит полосу препятствий.

Если бы мы подожгли разрушенную лестницу или остов моста, или двухметровый забор, зампотылу полка точно бы мне этого не простил. Пришлось бы восстанавливать, а то и из зарплаты выплачивать стоимость ремонта, поэтому напалим поджигали сугубо для имитации, для антуража, ну и чтобы удовлетворить фантазию комбата, в остальном руки у меня были развязаны. Изюминка была только одна: при преодолении каждого препятствия один боец прикрывал другого, вел стрельбу с колена, в движении, лежа, или стоя в траншее, когда ее перепрыгивал напарник. Потом напарники менялись ролями. Ничего не скажу насчет комбата, тот все так же переминался с пятки на носок, сложив руки на груди и что-то напевая про себя, но мне самому наша работа нравилась, мы не фальшивили. Тимиров старался, и все же при прыжке через забор он неудачно подвернул ногу, споткнулся и захромал, преодолевая накатившую боль. На миру и смерть красна, а тут было столько глаз по всему периметру полосы, что он терпел до конца, изобразил падение, сделал перекат, отстрелялся, и уж только потом я смог подставить ему плечо, и мы вдвоем показали отход со стрельбой. Комбат перестал качаться на каблуках, с некоторым удивлением повернул голову набок, да так и остался в этом положении. Ближе к вечеру во время чистки оружия — свой ствол я чистил сам, по привычке — подумал, что наша группа неплохо выглядит вместе. Суть картины оставалась прежней, как и сто, и двести лет назад:

когда один прикрывает другого, связка работает, один за всех — все за одного, так уже было. Случись что, группа у меня есть, ну так, на всякий случай. Хотя, какой такой случай, мы же не спецназ для отдельных боевых задач, а так, пехота, да из-за *речки* уже начали выводить войска.

Среди зрителей показательного штурма полосы было много офицеров полка, Батурин удосужился на утреннем построении пригласить на тактическое занятие всех желающих, заодно и перед командиром полка прогнул. После чистки оружия ко мне подошел Арутюнян, командир разведроты.

— Здорово, старлей! Неплохо отработал, — он повел черной бровью.

— Здорово, разведчик! С твоей стороны это неприкрытая лесть.

— Зачем лесть? Чувствуется подготовка, чувствуется, что после Афгана. И то, что ты не в своей тарелке, тоже бросается в глаза. Не отошел от войны, хочешь доказать, что ты крутой... Как зовут?

— Иван.

— Меня — Карен. Присядем? — мы пожали друг другу руки, его рука оказалась сухой и крепкой, и устроились на старой кирпичной кладке в тени такой же старой акации. — Я видел, как ты бежал, как работал, как духа в прицел искал. Крови хочешь? Хм, пройдет. Все пройдет.

Он чиркнул спичкой, глубоко затянулся сигаретой, выпустил вверх сизый дым, посмотрел на меня сбоку взглядом знатока, а я все не мог понять, было ли в облике нового знакомого нечаянное самолюбование или на самом деле он увидел в моем занятии что-то стоящее.

— Как умею, так и делаю. По-другому не интересно.

— Верю, тебе верю. А здесь... — Арутюнян нехорошо усмехнулся, посмотрел на кончик сигареты, — гадюшное болото. Что твой комбат, что другие, есть тут парочка карьеристов, у них тоже глаза блестят, хм, только по-другому, как у охотников, которые вынюхивают выгоду. Не куришь?

— Уже нет. В засаде курить нельзя, а служба была — одни засады. Так зачем себя истязать, напрягся раз, вот и завязал... Почему болото?

— Подходящая фигура речи. В полку на танках, на машинах полно запоротых двигателей, все молчат, комдив не знает. Стоп! — он вдруг замер, что-то прокручивая в голове. — А если...

— Если комдив не в курсе, ты-то с чего взял?

— Знаю. К тому же я разведчик; острые глаза, оттопыренные уши, пытливый ум и агенты на каждом углу... — По его скуластому смуглому лицу впервые за весь разговор скользнула улыбка. — Ладно, это я так, типа пошутил. Если без шуток, я завидую тебе, твоей практике. Вот кто я? Профессионал без практики — это чушь, полный бред.

— Как ты себе представляешь эту практику? — вольно-невольно мой вопрос был с подвохом, я хотел, чтобы он раскрылся, хотел узнать о нем больше.

— Да просто. Отрабатывать снятие часового на резиновой кукле или на реальном объекте — разница? А потом смотреть на свои испачканные руки — дрожат или нет.

Говорил Арутюнян медленно, сквозь зубы, от проскользнувшей улыбки не осталось и следа, он и не скрывал, что тяготится своей нынешней жизнью, она казалась ему плоской, несоленой, «откуда у парня испанская грусть...», у армянского парня? Испанская — это когда в глазах одиночество, и не знаешь, куда идти; русские, когда не знают — идут на край

света. Похоже, он искал в жизни особую остроту, лезвие бритвы, по которому немислимо идти, искал свой край, за которым бездна. И при этом для мрачных откровений он выбрал меня; была какая-то неочевидная причина, по которой он мне доверял.

— Разница есть и существенная, — я не знал, что ответить, взвешивал слова, еще не понимая, что слов от меня не требуется.

— Если меня с подготовленной группой, с ротой забросить в Штаты, где-нибудь в Техасе, мы бы устроили звездно-полосатым большой *шухер*. У нас бы получилось.

— Как забросить? Как ты себе это представляешь?

— Как-как... Не упирайся в детали, выделяй главное. Да хотя бы на подводной лодке, неважно... Главное — высадиться на берегу. Мы бы любую шахту с ядерной ракетой взорвали.

— Карен, ты стопроцентный авантюрист. Высадка в Америке — это дорога в один конец.

— Иногда и эту дорогу надо пройти. — Он помолчал минуту, уверенный, что я его понимаю. — Думай, как хочешь. Все решает готовность к действию. Что американцы? Кто они такие? Эти ублюдки уверены в своей безнаказанности, в том, что их все боятся. Они не ждут нападения, они не готовы, а значит, они слабы... Главный вопрос в другом: кто такие мы?..

Месяц подготовки заканчивался. Сегодня, за день до начала главной фазы дивизионных учений, активной «войны», прибыл командующий сухопутными войсками, военные атташе и представители стран Варшавского Договора, других стран, ожидали и главного гостя — Рауля Кастро, министра обороны Кубы. Мало кто откажется посидеть в партере с горячим кофе, когда на сцене лязгают гусеницами сотни боевых машин...

Тема учений «Встречный бой танкового полка» могла быть интересной, если бы игралась с листа, но учения были показательными, и мы показывали, как должно быть, давали живую картинку боевого устава. У кого из гостей стоят на вооружении танковые полки и одновременно есть степи от горизонта до горизонта, навскидку не скажешь (может быть, в Монголии?), ну пусть посмотрят, как это сочетается у нас. Нашим протипником по ходу учений был гвардейский мотострелковый полк из соседнего гарнизона в поселке Алаколь.

Поздно вечером командир полка Березовский срочно вызвал в штабную палатку всех командиров подразделений.

— Мать вашу... — начал Березовский без предисловий. — Если кто-нибудь еще допустит ЧП, строгачом не отделается, под арест отправлю!

Его так разъярило, что он забыл сказать, что же собственно произошло. Офицеры молча переглядывались, до утреннего подъема и выхода в район сосредоточения войск оставалось чуть больше четырех часов, надо было немного и вздремнуть.

— Убило кого? — ввалился в палатку запоздавший командир роты.

— Кто сказал? — рыкнул комполка, все промолчали, оглядываясь. — Типун на язык болтуну этому.

— Товарищ майор, — вмешался Батулин, — никто из офицеров не знает...

— Конечно, не знает. Только я и командир Алакольского полка. Пока никто не знает. Пока! — Он поднял палец вверх. — Личный состав у всех на месте?



— В первом батальоне вечерняя поверка проведена, отбой произведен, все на месте, — доложил Батурич, комбат-один. Потом комбат-два, потом по перечню доложили и другие командиры...

— Понял, понял... — командир все еще был на взводе. — В общем, так, разведрота полка уже перешла в полном объеме к активным действиям в полосе ответственности полка. Разведгруппа, возглавляемая лично Арутюняном, проводила разведывательно-поисковые действия, напоролась на засаду противника, обнаружила засаду раньше и условно ликвидировала ее. Однако в засаде у противника были дембеля...

— Ну-ну, — привычно отозвался Батурич.

— Да, дембеля! У вас в ротах таких тоже хватает. Они погулять вышли! В сторожевом охранении подальше от начальства можно и поспать, и развлечься, а службу обозначить флажками!

Офицеры, сгрудившись, стояли вокруг командира полка, не понимая, к чему он клонит. Для них и так не было секретом: где дембеля, там сплошь одни «приключения» и головная боль в придачу. Но причем здесь наш полк?

— Министр завтра приезжает! Еще не объявляли, но разве Рауль придет без своего визави? А эти дебилы... Арутюнян тоже хорош! Когда они не выполнили команду о формальном уничтожении засады...

— Г-га-га, — у кого-то воображение опередило мысль.

— ...он приказал разведчикам разоружить противника и действовать реально.

— Во, дает!

— Кавказец, горячая кровь.

— Голова должна оставаться холодной. А что в результате? Одна сломанная челюсть, разбитая радиостанция, похищены семь затворов к автоматам. Фатеев, командир соседей, рвет и мечет. Но зачем Арутюнян вывел из строя БМП?

— Это еще как?

— Вы-то, Батурич, что спрашиваете? Заложил тротилковую пашку в ствол и рванул. Результат: раздутие ствола. В общем, машина выведена из строя.

— Сильно обиделся разведчик. Ну а как же? — весело отозвался командир ремроты, завтрашний день его заботил меньше всего, он-то еще успеет выспаться. — Товарищ майор, да ничего такого, рембат заменит пушку, делов-то на пять копеек.

— И на запросы по связи не отвечает.

— Товарищ майор, он в принципе и не должен, — это была моя реплика, и Березовский бросил на меня возмущенный взгляд. — Арутюнян выполняет боевую задачу, у него режим связи.

— Ты что, ротный, это учения! Какая боевая задача? Командир полка вызывает на связь!

Я непроизвольно покачал головой.

— Арутюнян — разведчик, для него это боевая задача. Его станция на дежурном приеме. Дайте ему команду «отбой», он слушает эфир, он услышит.

— Платов, ты откуда это знаешь?

— Дайте ему команду на отход. Если он захватит командира полка Фатеева, дивизионные учения пойдут насмарку.

— Он не получал такую задачу! — взревел Березовский: мне показалось, что он поперхнулся от самой мысли...

— Разведгруппа может действовать согласно обстановке.

— Ты серьезно?

— Если соседи бараны, то волк их будет резать.

Наш командир полка сильно нервничал, по итогам знаковых учений он должен был стать либо героем и подполковником, либо жертвой. Ну не Крашнин же! Тот никогда не станет крайним, даже если что-то в его военной постановке пойдет не так.

— Связист! Соедини соседей, вызови командира. Срочно!

— Есть! — Боец принял ся крутить ручку полевого телефона.

— Товарищ майор, — Батурия заинтересовался ходом мысли командира, — что вы хотите ему передать?

— Что-что... Чтоб не сильно обгадился, когда его Арутюнян брать будет.

— Исключено. — У Батурина в голове сработала здравая мысль. — Командир разведроты выполняет поставленную задачу, Вы не можете его сдать. Это ваш офицер.

— И Вы туда же! Какая, к черту, задача? Идут дивизионные учения, а это форс-мажор! Э-эх, с такими командирами останешься, пожалуй, без очередного звания.

— Надо самим решать, — мой комбат продолжал проявлять твердость. — Фатеев — это противник.

— Связист, — Березовский помолчал в раздумье, — отбой! Ну и черт с ним, если он тот самый баран. Но разведка не получала такую задачу!

Ровно в полночь в эфире обозначились позывные Арутюняна.

— Переходи на запасной канал, — коротко бросил комполка.

— Батальонные районы сосредоточения противника вскрыты.

— Штаб противника не пощупал?

— Нет. За рамками задачи.

— Понял тебя, возвращайся. Будь аккуратнее, могут преследовать, нашумел ты там сильно. Конец связи.

Березовский стер со лба выступивший пот и вроде как повеселел: Фатеева в плен не взяли, и то хорошо.

Утром, чуть солнце поднялось над горизонтом, началось выдвижение танковых колонн на исходные рубежи. Встали. Дождались, когда на смотровой площадке, расположенной на высокой сопке и укрытой масксетью, появилось руководство.

Ну! Вперед, войска!

Танковые батальоны, заскрежетав гусеницами, набирая интервалы, медленно двинулись по разбитой в пыль степи. Не любят танки быстрой езды, вот и приходится пехоте, то есть мотострелкам, покорно плестись следом за ними, глотая желто-коричневую азиатскую пыль. Она стояла стеной и выдавала нашу колонну за многие километры, если только нас не скрывали горбатые сопки, но ведь у супостата тоже есть всевидящая разведка.

Обрывочными фразами зашуршала радиостанция. Понятно, впереди противник. Батальоны начали развертывание, идея заключалась в том, чтобы развернуться для атаки раньше противника и самому уйти из-под удара его авиации и артиллерии. Но бронированные «черепахи» степенно выдерживали геометрию, разделившись на три колонны, и так же, как черепахи, никуда не торопились. Пехота работала иначе. Мы получили боевой приказ на глубокий обходной маневр во фланг противнику. «Ред-

кая птица долетит до середины Днепра...», редкий читатель выдержит размышления о тактике... Но чем больше глубина маневра, тем больше шансов остаться в живых в реальном бою, и мы выжимали из двигателей своих машин все возможное, чтобы как можно быстрее раствориться среди складок местности. С вышки управления было видно, как мы вошли в сопки, усыпанные на склонах завалами камней, но когда осела пылевая завеса, наши БМП уже исчезли в зеленой балке; влажный дерн, степная трава не давали пыли. И тем более нас не видел противник. Батальон продолжал развертывание, и вскоре моя рота осталась одна. Там, где заканчиваются сопки, должна была начаться атака.

Карта образца семьдесят четвертого года обманывала, она и не могла быть точной, каждую весну после паводка образовывались все новые промоины, на которых можно было разбить машины, сорвать атаку роты и батальона или подставиться под вражеский огонь. Я доверял своему механику-водителю, в свои триплексы он видел землю, которую рвали гусеницы нашей машины и других машин, шедших следом за нами след в след. Я крутил головой в башне, крутил самой башней, чтобы видеть горизонт, видеть соседей и противника, когда тот появится перед нами. Я тарачил глаза в окуляры, ладони потели на рукоятках прицела, напряжение нарастало, переходило в вибрацию и мандраж и снова становилось напряжением, как будто настоящий бой был неотвратим. Сопки стали мельчать.

— Трезубец! Трезубец! Трезубец! — настойчиво прозвучал в шлемофоне голос комбата, и едва рота развернулась во взводные колонны, последовала новая команда: — Линия! Линия! Линия!

Рота развернулась для атаки, и дальше для каждого взвода, для каждого экипажа началась своя маленькая, локальная война. Конечно, это всего лишь учения, и в боеукладках нет боеприпасов, и все-таки это была война. Боевые машины рванулись к своему рубежу, что торпеды навстречу назначенным миноносцам, без всякой надежды вернуться. Где-то впереди их ждали противотанковые ракеты, пушки, расчеты гранатометов, минные поля, заложенные в план учебного боя... Но их также ждали самые настоящие трещины в грунте и рассыпанные в беспорядке валуны. Изначально такой риск ни в какие планы не закладывался, но по ходу спектакля все события переставали быть просто учебными и становились реальными. Как только появилась цель, а значит, и смысл, а также зрители, изменились и скорости. По косогорам и промоинам, по сыпучему щебню машины неслись как неуправляемые. Их подбрасывало на неровностях грунта, они легко смещались в сторону, меняли направление движения от касания механиком-водителем штурвала. При такой маневренности ни один гранатометчик был нам не страшен. Но когда мы выйдем на рубеж открытия огня, перед тем, как открыть огонь, мы сбросим скорость, вот тогда мы сами станем целью.

— Линию! Линию держать!

Душить азарт в зародыше — часть моей задачи. Нельзя потерять управление. У роты есть фронт атаки, есть вектор атаки, а вот азарт нигде не прописан, и что важно, обычно он противоречит здравому смыслу.

— Тридцать первый, левая дуга, левая дуга! Линию держать!

Чиженко, командир взвода, реагировал быстро, его машины ускорились.

— Интервалы между машинами!

Третий взвод, что был справа, скрылся за малой сопкой, а когда вы-

вырнул, я обомлел: две машины стремительно сближались на крутом косогоре.

— Тридцать седьмой, обороты! Тридцать седьмой, уходи...

Но тридцать седьмой не видел, что происходило справа и сзади. Самая правая машина пыталась обойти валуны, но теперь ее сносило боком вниз по косогору, и резкий маневр мог стоить ей опрокидывания. Только что между несущимися машинами было пятьдесят метров, и вот уже меньше пяти.

— Абишев, обороты! Обороты! Быстро! — Какие, к черту, позывные, это был настоящий форс-мажор. Мой форс-мажор!

Наказание последовало незамедлительно, посредники с вышки управления вошли в нашу радиосеть и сообщили неприятную новость, то есть вводную:

— Командир третьей роты убит!

Я убит: прикольно, такого еще в моей жизни не было... Остановившись на взгорке, на выгодной площадке, с которой открывался прекрасный вид на боевые порядки Алакольского полка, наконец, мне удалось оглядеться. Ротные колонны противника подставили нам свои незащищенные борта, моя рота — уже под командованием Чиженко, другие подразделения выходили на рубеж открытия огня. Что и требовалось по итогам выполнения учебно-боевой задачи.

Метров за триста до мнимого столкновения всем дали команду «Стой!», это означало, что где-то за скалами начинался следующий этап учений. Через двадцать минут он докатился до нас в виде танковой армады, которая двигалась так же степенно, геометрически точно, как и раньше; она занимала, затапливала, как вода в половодье, все свободное пространство до самого горизонта. Позади линии танков стелились пыльные шлейфы, собиравшиеся в сплошную пелену, менялся ветер, и пелена опережала танки, скрывая их от противника. Девяносто бронированных «черепах» неожиданно ускорились, рванулись вперед, стволами орудий пробивая оседающую пыль... Армада — она и есть армада, в этот момент мне стало жаль и обреченных гранатометчиков, и операторов противотанковых ракет, которых сметет эта лавина. После семи лет службы в армии я впервые понял, что остановить ее нелегко, невозможно. Подтверждая мои мысли, над полем учебного боя на предельно низкой высоте прошли два звена боевых вертолетов — да, у артиллеристов, что расположены в глубине обороны, тоже нет шансов.

Колонны Алакольского полка, остановившиеся и все это время молча наблюдавшие превосходство противника, пали жертвой танковой атаки, напоследок покрывшись толстым слоем ржавой пыли. Их ждал следующий этап учений, а мне, между тем, подумалось: лишь бы Чиженко не объявили еще одним случайно погибшим, потому что замполит, который возглавит роту после Чиженко, точно потеряется среди этой огромной необузданной массы боевого железа...

Ближе к вечеру после проведения политзанятий подошел замполит роты Исаков. Он был толковым по своей службе, насколько я эту службу понимал, во всяком случае, мне никогда не приходилось отвечать за его упущения. Но как командира, отвечающего за все, за каждую портянку, меня всегда напрягало: случись что в роте, он всегда оказывался ни при чем, покажет запись о проведенной беседе и чист, как агнец божий. Есть у нас такая шутка про замполитов: рот закрыл — рабочее место убрал, мы то ржем над ними открыто, то завидуем по-тихому, а на самом деле зам-

полит, что комиссар времен гражданской войны в кожанке и с наганом, до сих пор тупо приставлен к командиру, наган, правда, у него отобрали. Замполиты постарше чином — политуправленцы — своих в обиду никогда не давали, все вместе они были своего рода кланом, внедренным в армейскую структуру. А если нет, то кто-нибудь скажет, зачем этот комиссар вообще нужен, если политвоспитанием солдата занимаются все командиры, начиная с сержанта? Командир — это начало и конец всего. Плохие командиры — и армия сдает Минск, Смоленск, Киев, враг пытается зачерпнуть воды из Волги; хорошие — и армия берет половину Европы вместе с логовом врага. Я не спрашивал с Исакова много, собственно и не знал, что такое полезное мог бы с него спросить, главное, что по его части меня не трогали, и он исправно вел всю положенную ему документацию, хотя какой от нее был прок, не знал никто. Мы не дружили, не заладилось как-то с тех самых пор, как мы посидели вдвоем... Он думал познакомиться с новым командиром, то есть со мной, поближе, узнать слабости и что-то еще, помимо сухих формулировок из личного дела, а оказалось, раскрылся сам, да и сержант тот не вовремя пришел с докладом. Долго его преследовала мысль: а вдруг эти посиделки выплывут наружу и о них узнает его политическое руководство. Боялся, что сдадут, может, и не напрасно боялся, ему виднее, как это бывает.

— Командир, я утром в политотделе дивизии был, с нами совещание проводили по предстоящей партийной конференции. Короче, начальник политотдела довел информацию в соседнем полку служил командир разведроты капитан Платицын, полтора года назад был направлен в Афганистан, несколько дней назад погиб. Был командиром разведбата в Баграме, майором.

— В Баграме? Это же мой гарнизон.

— Вот и совпадение.

— Да, разведбат — соседи, было дело, я там в свое время почти всех офицеров знал. О Платицыне не слышал, похоже, он уже после меня был.

— Я взял адрес его родителей в Минске, у него не было своей семьи. Напишешь?

— Что написать, я же с ним даже знаком не был?

— Так, что-нибудь. Родителей любое слово согреет. Ты все знаешь про эту войну, тебе есть что им рассказать.

Его слова оказались неожиданно деликатными и при этом настойчивыми, без его подсказки я бы никогда не решился писать незнакомым людям... письмо-некролог. Что писать, когда ничего не знаешь о человеке? Придумывать — глупо, да и в голове не могло родиться такое, чтобы соврать. Зачем? И все же я знал об Афгане так много, что бумаги в ротной канцелярии не хватило бы, чтобы рассказать, но это угрюмая правда, тяжелая, как камень, как выдать ее? Может быть, лучше опустить глаза в пол и... остаться в стороне от чужого горя. Писать отцу-матери, которые потеряли сына, у которых не будет внучат — какие слова я мог найти? Я посмотрел на Пашу Исакова с вопросом: подсказывай дальше, но тот только пожал плечами. Он сам обычный человек, мягкий — иногда это не лучшее качество — и он точно не мог бы написать такое письмо, потому и не пытался.

— Ты бываешь упертым, и, похоже, мне не отвертеться. Напишу.

Салам, Афган! Мы повязаны навсегда, я начинаю понимать это только сейчас...

«Уважаемые Василий Григорьевич и Екатерина Никитична, вам пишет старший лейтенант Иван Платов, командир разведроты из Тарбагатай, где раньше служил ваш сын. Мы никогда с ним не встречались, не пришлось, но я также служил и в Афганистане, в тех самых краях, знаю разведбат, которым он командовал, знаю задачи, которые он выполнял. Еще я знаю, что «лучше гор могут быть только горы».

Родители гордились им, отец — ветеран, сын продолжил дело отца. Высокий статный красавец... Конечно, они в нем души не чаяли.

«Уверен, у него была важная служба: в разведке по-другому не бывает. И что бы сейчас ни говорили перестроечные демократы, на афганской земле он защищал Родину. Лучше это делать за ее пределами, чем биться с врагом у себя дома. К сожалению, много наших ребят полегло... У нас там была песня про кукушку. *Снится мне ночами дом родной, / вся в рябинах тихая опушка... Все любили эту песню. У солдата вечность впереди, / ты ее со старостью не путай*».

Каждая мать, потерявшая сына, в порыве безграничной любви однажды закричит: почему именно он? Почему его убили? Пусть родители не задают себе этих ужасных вопросов, пусть знают, что их сын стоит одним из первых в ряду героев. И еще... Он не жертва.

«Ваш сын Александр Платицын был офицером, который выполнял свой долг. Его разведбат всегда был на хорошем счету, там служат сильные люди. Жаль, что мы разошлись во времени, и наши пути ни разу не пересеклись, мы бы подружились...»

Я отложил ручку, перечитал. Как-то пафосно. Не слишком ли? Они родители, для них ничего не слишком. Чем закончить? Написать, что я обязательно к ним приеду? Если напишу, обратной дороги у меня не будет.

\* \* \*

— Мы с тобой давно собирались хлопнуть по коньячку. Так как? — Аругтюнян слов на ветер не бросал, и с памятью у него было все в порядке, чем он и гордился.

— И что, есть повод? — это я так спросил, для порядка: пообщаться с хорошим человеком повод не нужен.

— Ну, брат... Я «капитана» получил. Погоны еще не вручали, но это дело двух-трех дней.

— Не хочешь ждать?

— Обмоем, как положено, в свое время, не сомневайся, там будет большая компания. Но я хотел с тобой в знак дружбы, и... сказать тебе одну вещь без передачи.

— Капитан — самое красивое звание.

— Это когда ты еще молод, крепок, но уже знаешь, кто есть кто в этой жизни — вот что такое капитан. Крайний раз ты спросил, почему я не увольюсь? Помню твой вопрос. Такие вещи наспех не делаются, думал, ждал *капитана* и вот дождался. Теперь меня ничто не тормозит, надо что-то делать со своей жизнью, пока не поздно, буду увольняться. Это и есть мой секрет и ответ на твой вопрос.

— Чем займешься?

— Еще не решил.

В квартире у Аругтюняна все было, как в ротной канцелярии: однотумбовый стол с инвентарным номером, стулья, шкаф и настольная лам-

па все той же принадлежности, на стене вместо ковра карта мира со столиками, отмеченными флажками. На кухне притулился довольно скромный набор посуды, точнее, минимум необходимого, и тоже из армейской столовой. Арутюнян был аскетом. Единственным приличным местом в квартире, где он позволил себе роскошь, оказалась ванная комната с набором дорогой парфюмерии. Откуда у него взялся французский шампунь, соль для ванны, гели, я не спрашивал, ясно и так — из Армении. Но самым необычным из всего увиденного и сбившим меня с толку был портрет Сталина, висевший в комнате сбоку от инвентарного стола и смотревший с прищуром на карту мира. Станным образом портрет вписывался в аскетичный военный интерьер.

— Он же грузин!

— Разные люди заглядывали в мое логово, коммунисты, оппортунисты, беспартийные, никто не прошел мимо.

— Мимо и не пройдешь.

— Жесткая линия товарища Сталина многим по душе, — он ухмыльнулся. — Другие напоминали, что он был тираном, только ты ударил по самому больному.

— Я не в курсе предыстории, но ты армянин! Не вяжется.

— Думаешь, много противоречий? Нет, армяне и грузины — соседи, братья, у нас одна вера.

— Но Сталин?

— Считаю, что это была проверка...

— На беременность сталинизмом?

— Почти угадал, не обижайся. В восемнадцатом году он был наркомом по делам национальностей и настоял на выводе русских войск с территории Западной Армении, потом туда пришли турки и добились недобитых. В комиссии, которая вела переговоры о турецко-армянской границе, не было ни одного армянина. Он мог помочь братскому народу, но он этого не сделал, не захотел. Нас защищал ваш русский министр, нарком Чичерин, он единственный, кто разбирался в армянском вопросе, кто понимал, что происходит, но он был дворянином, из бывших, пережевали его да и выплюнули... Сталин ненавидел нас.

— Вы не единственные.

— В сорок пятом году он мог вернуть нашему народу священную гору Арарат, вернуть оккупированные турками армянские земли. Мог! Он был главный в мире. Только щелкнуть пальцами!

— И ты держишь его портрет у себя в доме на стене?

— Чтобы не забывать, — он посмотрел тяжелым взглядом в лукавые глаза генералиссимуса. — Ты, наверное, не знаешь, что армянский вопрос не решен до сих пор, его замалчивают. У нас отняли землю, вырезали полтора миллиона человек, для маленького народа это огромная потеря, нас разбросало по всему миру, а турки до сих пор не признали геноцида. Они его не признают никогда. Ни-ког-да.

Возникшая пауза висела в воздухе вместе с табачным дымом, Арутюнян курил, с этим у него было просто, как в ротной канцелярии; точно так же, как в канцелярии, он не снимал всегда надраенных хромовых сапог.

— Ладно, оставим моих земляков. Придет время, мы вернем Арарат, но, как говорят, это совсем другая история. — Он извинительно улыбнулся (редкий случай, когда его лицо осветилось эмоциями). — Собрались выпить коньяку... Но ты сам толкнул меня к этому разговору; наверное, ты не случайный человек.

Арутюнян достал из ящика в шкафу бутылку пятизвездочного «Ара-рата», откуда-то взялись два пузатых фужера, забулькал янтарный напиток, распространяя аромат успеха и благородства.

— Держи, — он протянул мне фужер, — возьми в ладонь, вот так.

— Ну что, за твоего *капитана*?

— Э-э, постой, коньяк так не пьют. Ты вообще-то когда-нибудь пил коньяк? Нет? Тогда слушай краткий курс. Коньяк — это дар богов, это частица солнца в фужере. Его пьют маленькими глотками и не закусывают, чтобы не исказить вкус, но сначала надо вдохнуть аромат, создать настроение.

— Так пьем или тренируемся?

— Старлей, кто понял жизнь, тот не спешит, — Арутюнян, с большим знанием дела, с укором посмотрел на меня. — Ну, давай, по глоточку.

Жидкий огонь согрел душу, если предположить, что душа где-то на уровне груди или в верхней части живота.

— Еще по глоточку?

— Годится. Оказывается, можно жить...

— Можно, причем везде. И здесь, в Тарбагатае, тоже можно жить, — он сделал заговорщицкую паузу. — Особенно, когда с женщинами все в порядке. Одни глаза опускают, с ними понятно. Но есть и другие... В общем, сами на шею вешаются.

— Твоя тайная страсть?

— Нет, это существо бытия. Жил себе Адам в раю, в своем гарнизоне, горя не знал, тут появилась Ева с яблоком. С этого все и началось, не я первый. Преимущество нашего гарнизона в том, что нет проблем с незамужними Евами. Да и те, что замужем, проявляют интерес.

— К тебе?

— Чем я хуже других?

— И жены офицеров? Это как-то, э-э, неприлично, мягко говоря...

На мой вопрос он равнодушно пожал плечами, я уже знал этот его жест: каждый сам выбирает березу, на которой его повесят.

— Чего стоит тот офицер, у которого жена шлюха. Ты представляешь себе такого офицера? Я первый его презираю. А переспать со шлюхой, хм, не зазорно. Что напрягает?

— Неожиданный взгляд на вопрос.

— Не усложняй. Нет никакого вопроса. Взгляд обычного холостяка. Или, как сказал бы циник, изнанка жизни.

— Ну да, все доступно.

— Я же говорил, болото, у женщин даже работы нет. Сидят по квартирам или у подъездов языками треплют; куда им деваться? Представляешь, какая у них обида на жизнь? Вот и шалят иногда. Обиженная женщина — это черт в юбке. И вообще, надо заняться твоим воспитанием, — он резко сменил тему, изучающе посмотрел на меня, как будто видел впервые. — Ты оказываешь уважение, тебе оказывают уважение, это нормально? Нормально. А если ты оказываешь уважение женщине? Какой может быть ее благодарность? Я пытаюсь тебе объяснить, нет в этом ничего пошлого. Между людьми возникают отношения, связи. Кстати, есть у меня одна крутая телочка. Не так чтобы молода, но с гонором. Расскажу как-нибудь, будет повод.

— Сначала заинтриговал, а теперь на попятную. Какой тебе нужен повод?

— И правда. Давай выпьем, — на этот раз мы не церемонились, не



вдыхали аромат и сразу хватили и сразу полфужера. — Я тут между делом пользую жену Крашнина, ух, хороша подружка, жаркая.

— Командира дивизии?

— Вань, ты все портишь своей прямолинейностью. Причем здесь должность? Она шлюха, которая гуляет от своего мужика, ну и какая разница, кто ее мужик?

— Так уж и нет разницы?

— Ну, греет иногда, греет. Он как-то через голову командира полка вызвал меня на ковер для разноса. Я проводил учебные сборы снайперов, мишенное поле накрыли с опозданием. Орет, молнии глазами мечет, унижить хочет. Унизить! Меня, офицера! Объяви взыскание, если виноват, нет же... — Сейчас Арутюнян явно грел коньяк. — Хм, я стою перед ним, не напрягаясь, и думаю: топай ногами, сколько хочешь, а я с твоей женой сплю, пока ты подметки рвешь на служебной лестнице. Вот на этом самом диване, на солдатских простынях. Скучно ей... обычная история.

— Он знает? — каким-то чутьем я уловил этот вопрос.

— Если знает, то у него на одну головную боль больше... Но такова жизнь! *C'est la vie...*

Совещание в батальоне затянулось почти до девяти часов, и к Арутюняну на обмывание капитанских звезд я пришел последним, когда подогретая компания уже гудела, как улей. Дым, не успевая выветриваться в открытую форточку, собирался у потолка, звенела посуда; за столом, собранным из трех канцелярских столов и накрытых бумажными обоями, перекатывалась волна разговора. Два майора, два полковых разведчика, уединившись на кухне, изливали друг другу душу:

— Ну и что здесь хорошего, такого, чтобы меня удерживало?

— Просто жизнь; лямка гарнизонная, в конце концов. А тебе Алма-Ату подавай?

— Не наш уровень. Гарнизоны, брат, они вдоль границы расположены, в крупных городах — только штабы.

— Ага, есть соблазн стать полковником. Тогда и будет шанс служить в центре, в Алма-Ате, а то и в Москве, в Арбатском военном округе.

— Смеешься?

В коридор на стук входной двери вышел Арутюнян. Он был немного подшофе, выглядел вальяжным, уверенным в себе, впрочем, как и всегда, все с тем же запахом французского одеколона, на его форменной рубашке красовались новые капитанские погоны, те, что утром на построении вручил ему командир полка.

— Карен, извини, опоздал. Звезды обмыл?

— И обмыл, и представился, все честь по чести; давай, проходи к столу.

Он заглянул на кухню, где, глядя в окно и положив руки на плечи друг другу, продолжали беседовать два майора.

— Здесь степь ковыльная до горизонта, свежие Тарбагатайские ветра, Алаколь с чистойшей водой, космические корабли по ночам взлетают. Надо куда-то выбраться — аэропорт под боком. Какой Арбат? Это фетиш. Ни охоты, ни рыбалки. Асфальт вместо земли, тысячи высотных домов и толпы озабоченных людей, где ты — песчинка, от которой в этом мире ничего не зависит. Бег по кругу. Суета.

— Когда ничего в жизни не добился, то это успокаивает.

— Каждому свое. Вот нам с тобой достались Джунгарские ворота. В этом есть и смысл, и романтика тоже.

— Смысл — да. Был такой народ, джунгары, не смогли за себя постоять.

— Вот точно говоришь, что был. Слабых не прощают. Одно название осталось, долина между хребтов. Теперь здесь наш гарнизон, как приграничная застава, такой вот оперативный расклад.

— И мы с тобой как Добрыня Никитич и Алеша Попович на дежурстве. Далеко нас с тобой занесло.

— Добрынюшка, мил человек, ты сам-то чьих будешь, что заканчивал?

— Известно что, Киевское, факультет разведки.

— Ничего не известно, я — Моспех, а оба мы здесь, на кухне у газовой плиты..

— Э-э, земляки, один хохол, другой русак, вы у ары в гостях, давайте к столу. Народ без руководства никак выпить не может, команды ждет.

— Идем, капитан, идем.

Стол между тем не ломился от обильных закусок, но был по-своему изыскан. Его украшала батарея полных и полупустых бутылок армянского коньяка, пепси-колы, тарелки бутербродов с икрой, полукружья вареной колбасы, явно не армянского происхождения, а еще большая кастрюля с дымящейся картошкой и соленые огурцы, принесенные кем-то из гостей, и тут же разломанные плитки шоколада, которые рядом с огурцами выглядели чудовищной ошибкой.

— За карьеру!

— Это какая такая карьера у прапорщика?

— Спроси любого, подскажут. Паламарчук, проясни ситуацию.

— Ну, к примеру, если после старшины роты становишься начальником продсклада. Якось так.

— Короче, как у тебя.

— Так это просто взлет карьеры! — загоготал весь стол, включая двух майоров.

— Собрались три прапора — уже организованная группа, — подвел итог Арутюнян. — Обязательно что-нибудь утащат и продадут.

— А куда без нас? На нас вся служба держится. Вот и твоя берлога, — старый усатый прапорщик оглянулся по сторонам, — похожа на приличную казарму, благодаря... не будем показывать пальцем.

— Спасибо за заботу, Степаныч. Но сдается мне, не сделать тебе карьеру.

— Куда уж там, староват я для карьеры.

Я тоже оглянулся по сторонам, по стенам и не нашел портрета Сталина. Значит, сегодня без провокаций. И то верно, при такой большой компании легко отыщутся противники во взглядах на историю, и — пропал вечер.

— Шо сразу хохол? — на другом конце стола возмущался Паламарчук.

— Шо, шо... Ни один хохол сало мимо рта не пронесет, — и снова гогот, народ не унимался.

— Слово держит разведбат.

— Разведбат в лице капитана Лаврова, — Лавров отшутился. — Комбат Кувшинов и начштаба Акрошвили приносят извинения, они сегодня в штабе армии на докладе, но просили передать тост. Итак:

За здоровье раненых, за свободу пленных,  
За красивых женщин и за нас, военных!

Все встали, как по команде, и четырнадцать граненых стаканов с коньяком грохнули дробным перестуком.

— Ура! Ура! Ура-а!

— Карен, сейчас придут соседи...

— Я найду еще пару стаканов, и мы их усадим за стол на лучшие места.

— Чисто армянский прием.

— Э-э, причем это... Армяне — маленький доброжелательный народ. Армения — маленькая страна, — увидев мой протестующий взгляд, повторился, — маленькая, Иван. Ты все Союз, Союз... Это другое, это — империя.

— Нашел, на что обидеться.

— Я не обиделся, просто малое в великом растворяется, я не хочу, чтобы мой народ растворился, поэтому я всех зову за армянский стол.

— Тост от танкистов будет?

— А как же, мы — танковая дивизия или где?

— Давай, броня, давай!

— Карен, дорогой, — поднялся командир танковой роты, добродушный крепыш, — ты необычный человек, горячий, напористый, глаз не прячешь. Мне иногда кажется, что ты опасен сам для себя. Власть держащие таких не любят, а вот друзья гордятся такими друзьями. Спасибо, что позвал. А пожелать... Что может пожелать танкист? Как раз брони, чтоб прикрыла тебя, когда потребуется.

— Спасибо, брат.

— За тебя!

Два майора снова ушли на кухню курить. Они нашли общую тему и никак не могли с нее соскочить.

— А что потом, Василий? Оторванный от своей малой родины, в казенной квартире, не знающий обычной гражданской жизни, ветеран в сорок пять лет оказывается отработанным материалом. И пенсия как утешение. Куда деть себя? Чем заняться? Преподавать детям начальную военную подготовку? С нашим-то командно-матерным языком только с детьми и работай... Идти в дворники? Жить-то еще долго.

— Богдан, ты о чем ведешь речь? Нам еще служить, как медным котелкам, у тебя впереди должность начальника разведки Киевского округа.

— Стебаешься? В академию меня не направят, старый уже, тридцать четыре стукнуло, да и дома я как не родной. После всех странствий по миру меня даже родители считают гостем, когда в отпуск приезжаю. Или хуже того — блудным сыном. Это меня, военного! Квартира в любом случае останется за сестрой.

— Хорошая квартира?

— В Киеве, на Крещатике? М-да, хорошая, это как в Москве на улице Горького, да еще с высокими потолками.

— Вот это цена вопроса! Теперь понимаю, почему ты не любишь казахские степи.

— Ладно тебе, у нас степи на Херсонщине такие же, просто мне не хватает Украины, — Богдан мечтательно смотрел в вечернее окно, как будто видел в угасших сумерках склонившиеся под теплым ветром ковыли или бахчи с созревшими желто-рыжими дынями.

— Я промолчу о том, чего мне не хватает.

— Судя по всему, Василий — карьеры. Она — наркотик, ее всем не хватает.

— Почему бы нет! А если у меня гибнет глубокий аналитик, руководитель? — после выпитого Василий был нескромен, все знают, чего хотят, но не все знают, как этого добиться. — Но в том-то и дело, кто бы там во мне ни погибал, меня тоже нигде не ждут. Офицер, служивый — он ведь, как перекасти-поле, не привязан ни к чему, у него нет дома. Где поставил палатку, там и гарнизон.

— Твоя идейная основа, да? Рыцарь без страха и упрека.

— Рыцарь — вечный странник, искатель приключений. Однако, кроме чести и достоинства, у него должен быть небольшой родовой замок где-нибудь на берегу Луары, где иногда можно отсидеться, залечить раны.

— Ага, вот в чем дело. Втайне и ты не прочь прикупить шесть соток, обзавестись малой родиной, осесть на земле и стать самодовольным маленьким бюргером.

— То рыцарь, то бюргер, тебя все на запад тянет, — Василий поморщился.

— Чем тебе бюргеры не угодили?

— Это те же наши кулаки-кровососы.

— Ха-ха, омерзительный народец. Да? Только они всю страну накормить могли. Проверено. И накормят.

— Вместо колхозов?

— Именно, — Богдан поднял плечи, — правда, на приключения они не согласны, но если припрет, за свое живота не пожалеют. — Он едко улыбнулся. — А ты, значит, *свое* любому проходимцу отдашь? Прикинь, приходит такой комиссар с наганом. Отдавай, говорит, нажитое своим кулацким горбом — а ты перед ним шапку ломишь, забирай, мол, товарищ уполномоченный.

— Хватит передергивать — малая родина, большая... Свое оно и есть свое.

— Конечно, хватит, на каждый наган и обрез найдется. Между прочим, антоновский мятеж у вас в России был, под боком у Москвы, крестьяне за свой хлеб боролись.

Два майора, стоя у открытой форточки, курили, сбрасывая пепел в горшок с кактусом, уже не обнимались. Главное — посеять сомнение, а умные русские головы возведут его в принцип. А там недалеко и до бунта. Где-то на Западе это называют протестом, у них просто не хватает духу взять в руки оружие. У русских — хватает.

— Ты удивлен? До революции без колхозов как-то обходились. Не безземельный же батрак страну кормил?

— Ты вспомнил; сколько тогда центнеров зерна с гектара брали?

— В те времена в пудах мерили. Но собирали столько, что за бугор продавали. Не то, что сейчас. И червонец золотым был. Много хорошего было.

— Начитался желтой прессы,

— Ага, либеральной. Что поделать, нам приоткрыли ящик Пандоры, теперь мы знаем слишком много. Тебе мешает?

— Если это все ложь?

— Ложь что? Что мы разучились хлеб выращивать и теперь его в Аргентине закупаем? — Богдан посмотрел с вопросом. — Или то, что Ленин и Сталин круто изменили ход русской истории? И заставили нас заколачивать гробы? Много соснового леса извели.

Последнюю мысль приятели приняли оба и разом замолчали.

— Что-то мы все о грустном...

— Как выпьешь, ничего веселого на ум не приходит.

— Это у тебя так голова устроена.

— Да жизнь так устроена. Где-то строят гигантские заводы, запускают спутники, ядро расщепляют, а мы тут топчем казахскую степь, как и семьдесят лет назад. Ничего не изменилось.

В комнате на столе зазвенела посуда, и следом раздался дробный стук разлетевшихся осколков.

— Кто этот лейтенант? — я кивком головы показал Карену на подвыпившего парня, зацепившего локтем тарелку с бутербродами.

— Не важно, — он рассеянно пожал плечами. — Лейтенант хотел оказать мне уважение, но не рассчитал силы.

— Можно и так сказать, — я с иронией посмотрел на Карена. — Но у нас говорят, незванный гость...

— Знаю... Хуже татарина. И при чем здесь татарин? — он снова пожал плечами, на этот раз с улыбкой. — Иван, ты скажешь что-нибудь?

— А как же, тост за мной, — я прокашлялся, сложил свои чаяния в одну хорошо упакованную мысль. — Товарищи офицеры, должен сказать, что Карен, капитан Арутюнян, такой человек, что ему можно пожелать все лучшее, ничто не будет во вред ни ему, ни другим людям. Хочу пожелать, чтобы в нашей большой и сложной стране ему везде был дом, а там, где проживают его друзья — родной дом.

— Спасибо, Иван, — его негромкие слова заглушил грохот стаканов. — Почему именно это?

— Потому что это же я хотел бы пожелать и себе...

Холодно зимой, когда сквозь перчатки промерзают пальцы и стынют ноги, холодно даже в мае, когда под рубашку пробирается утренняя свежесть, холодно в любое время года, когда окружающий мир становится чужим, чуждым, посторонним. А другого мира нет.

В один такой день я снова стал командиром взвода... Дело выглядело простым: собрания офицеров, армейские традиции стали преследоваться, офицеров разобщали, и то, что мы неделю назад хорошо посидели с армянским коньяком, стало поводом устроить над нами расправу. Список причастных, подлежащих обструкции, уже лежал в политотделе. Когда я в третий раз оказался в кабинете командира дивизии, меня уже одолевало ощущение дежавю: этот кабинет был лобным местом, где меня снова пытались сделать изгоем.

— Иван... Это показательный процесс. Как при Сталине, — Арутюнян помолчал. — Не умею извиняться, знаю, что втянул тебя.

— Да, ты не умеешь. И не надо. Что за летеха сидел с краю стола?

— Я же говорил, случайный гость. Он из Алаколя, у нас в командировке прохлаждался, перебрал немного.

— С него все и началось, хотя какая теперь разница.

— Им и закончится.

— Ты собирался увольняться, вот Крашнин и политотдел тебе отсажуют.

— Совпало.

Правила изменились. Теперь ветер дул со стороны Пленума ЦК. Вся страна уходила в подполье, придумывала безалкогольные свадьбы, чайники с портвейном на вечеринках, активно заменяла водку самогоном, а еще рыдала по вырубаемым виноградникам. Рыдал Крым, Кубань, Грузия, Армения, Молдавия, для кого солнечная ягода была частью жизни,

чем-то сакральным, да и просто принесла деньги. Больше всего в моей новой аттестации меня убивала формулировка «за махровое пьянство». Что это такое, я так и не понял. Двух прапорщиков просто уволили, третьего оставили в виде исключения. Кого оставили? Подумалось, того начальника продсклада, и как позже оказалось, я не ошибся.

— Представляешь, он вызвал меня на ковер, — медленно кипел Арутюнян. — Слова из себя выдавливают, как будто шипит. Из-за меня лейтенанта увольняют, он не был членом партии. Двух прапорщиков уже уволили. Степаныча уволили! Из-за меня! Кулаки сжимаю, внутри все пышет. Давай, думаю, шипи, а я прямо сейчас позвоню тебе на квартиру, кое-кто не откажется от встречи со мной. Он так и не понял, почему я улыбался.

— У тебя необычный способ снятия стресса.

— Да, месть — это лучший способ.

Ревела жена. Лара восприняла черную полосу в службе, как закат всех своих мечтаний, ее пугала будущность, как будто этой будущности не было вовсе. Она прикрывалась моей спиной, не слишком понимая происходящее, не стараясь его понять, но как всякий слабый человек держала в запасе идею о побеге домой, к маме, если что-то не сложится в жизни. У меня таких запасных вариантов не было, офицер с двумя «Красными Звездами» мог бежать, прорываться только вперед. Пока же я сидел в глухой обороне.

— А что будет с нами?

— Другой гарнизон. Соберем пожитки и вперед.

— Бросим квартиру и все? Мы только ремонт сделали. Ну как же так? — и снова стенания, как по покойнику. — И финские обои жалко, мы такие уже не достанем.

Я слушал причитания жены, они раздражали. Что толку цепляться за вчерашний день? Она продолжала скулить, а у меня в голове вертелись чужие слова, которые или успокаивали, или требовали действия. *Я не люблю себя, когда я трушу, / Досадно мне, когда невинных бьют, / Я не люблю, когда мне лезут в душу, / Тем более, когда в нее плюют...* Странно, что это сказал не я. Значит, Высоцкий тоже трусил, значит, я не один такой. Это никак не грело, но все-таки становилось проще. Что надо было сделать? Ударить кулаком по столу в кабинете у Крашнина? Разве в этом смелость? *«Я не люблю себя, когда я трушу...»*

В последние недели я чувствовал себя спокойным, ни о чем не переживал, хотя и надо было бы, карьера действительно висела, покачиваясь, на тончайшем волоске. Мне нравилось быть командиром взвода, таким бездельником, теперь я высыпался, был бодр и свеж, появилось время для книг, я прочитал «Кочевников» и, наконец, добрался до «Мастера и Маргариты». Раньше роман не печатали, почти пятьдесят посмертных лет Булгаков не мог преодолеть цензуру, и вот «...в белом плаще с кровавым подбоем... четырнадцатого числа весеннего месяца нисана... в крытую колоннаду дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат», тот самый Пилат, который разрешил помиловать разбойника и казнить проповедника. Меня вдавило в кресло, затуманило голову...

— Спать собираешься? — проворчала жена, заглянув в комнату.

Собираюсь, разве что с Маргаритой, но ее хотелось постигать вместе с полоумным Мастером, а спать уже потом, к рассвету. Но еще больше

хотелось постичь Воланда, стать рассудительным, ценительным, не имеющим моральных преград. Был бы я ротным, никогда не нашел бы времени прочитать и ужаснуться, как сладка власть, как скоротечна жизнь, какое это безумство — любовь...

Яркие звезды над головой, ветер раздувает полы шинели, хромовые сапоги не держат тепла, от этого мерзнут ноги. Вечерний развод нарядов длится долго, тут же с нами зачем-то стоит полковой оркестр, должно быть, провинились перед командиром, раз он выгнал музыкантов на мороз выдувать из труб застуженную медь. Обычно хватало и барабанщика с его заледеневшими пальцами.

Уже к концу развода, когда дежурный заканчивал проверять заступающий караул, ко мне подошел Игорь Кувшинов, командир разведбата.

— Ты — Платов? Командир полковой разведроты, хм, бывший?

— Точно так, товарищ майор.

— Меня знаешь?

— Командир разведчиков.

— Тогда к делу. Знаю, как с тобой обошлись, и вот вопрос: ты служить дальше будешь или... — последовала пауза, но он продолжал, не отрываясь, смотреть мне в глаза, — ...или на все забьешь и забухаешь?

И в самые трудные минуты у меня не было такой мысли, она просто не возникала, дело не в моей стойкости, но в том, что я принимал службу как продолжение себя. У меня не было выбора.

— Буду служить, я присягу давал.

— Присягу — это хорошо. Ко мне в батальон пойдешь? — Он немного наклонил голову, но смотрел все так же прямо. — Через год снова ротным станешь. Слово офицера.

Здесь, в дивизии, еще ни один командир не говорил со мной так просто и так доверительно, пахнуло свежестью Афгана, только *там* командир мог разделить с тобой твою ответственность и нести ее потом, как знамя или как крест.

— Слово офицера? Пойду.

— Заодно повысишь профессиональный уровень. У нас интересно.

Обещанный год пролетел быстро, быстрее, чем хотелось бы. Действительно, было интересно, я осваивал тактику подразделений разведбата, новую для меня разведывательную машину, бортовую РЛС, дальномер, а последние полгода готовился к командировке в Китай. Странно, там потребовались инструкторы как раз для наших БРМ, а я был уверен, что мы с китайцами враждебны на всех уровнях, но они покупали наши машины — значит, я ошибался. Притихла жена, она еще долго могла любоваться нашими обоями, но ее страшно разочаровывал мой новый статус взводного, самой нижней ступени на подступах к высочайшей горе Олимп.

Через год, почти день в день, я получил назначение на должность командира разведывательной роты в соседний гарнизон. Офицер Кувшинов слово сдержал, и когда я поднимал полный стакан водки за свою новую должность, это был тост и в его честь, за слово офицера. Но если честно, уходить из его батальона было жаль, заканчивалась светлая полоса в жизни...

Я хотел забыть об Афгане, и пока служил в разведбате, это получалось, никто не напоминал, но война все еще продолжалась... Читал газеты, там писали разное, нарастал период осмысления обществом самого себя. В дело, как в топку, шла история, упакованная в рамки политпросвещения, шли цари и революционеры, Сталин и Хрущев, а вместе с ними, униженные и оскорбленные, второй раз умирали герои-панфиловцы, умирали все, кто защищал и отстаивал великую страну. Новые либералы не носили вериг, они надевали их на свой народ. Вот и афганская война, свежий шрам, стала для них излюбленной темой. Договор о выводе войск был уже подписан, войска оставляли отдаленные гарнизоны и готовились уйти из Афганистана совсем. Там должно было начаться побоище между крупными бандформированиями и деморализованной афганской армией, но меня это уже не касалось, я свое отработал — так я убеждал себя, пытался убедить. Ни с кем не обсуждал статьи в газетах, ни с кем не спорил, свою войну, свою гордыню, свои обиды затолкал себе в глотку, даже звание капитана обмывал только со своим ротным старшиной. Нас всех предали: и живых, и мертвых, я уже это знал и принял... как будто это было частью засекреченной игры, негласным твердым правилом. Был на войне, видел духов, стрелял — значит, ответишь.

Моя пустая, почти без мебели квартира в новом гарнизоне казалась мне бетонной коробкой, пещерой... Жизнь за пределами пещеры была сухой схемой, только службой, второго Арутюняна я не нашел, а Карен сгинул где-то в Нагорном Карабахе, в гражданской войне, защищая отколовшуюся частицу своей маленькой Армении. Жена, зная, откуда я вернулся, никогда не интересовалась, что осталось за моей спиной, ее детское безразличие обескураживало. Я бы ей и так ничего не рассказал, как бы я это сделал? Но она даже не интересовалась! Нынешняя мирная жизнь была только половиной меня. Остальное? Все там же — в прошлом.

Но как-то на утреннем построении офицеров командир полка сделал ошеломляющее объявление.

— Платов! В двенадцать часов — у командира дивизии, возьми машину начальника штаба.

— По какому поводу? — я напрягся: ничего хорошего от таких приглашений мне ждать не приходилось.

— Повод, капитан, вполне достойный. За выполнение особых заданий командования тебе будут вручать орден Красной Звезды, — видя мое замешательство, добавил: — Награда долго *блукала* по инстанциям, бюрократию еще никто не отменял. Комдив решил, что перед строем вручать не обязательно, время, понимаешь ли, такое, неопределенное.

— Какое такое неопределенное?

— Вот у него и спросишь!

Командир одернул китель, смахнул мнимую пыль с рукава. Чувствовалось, что он раздосадован и не имеет никакого желания объясняться на предмет чужих орденов. В его полку я был единственным, кто был отмечен кремлевскими указами, а он так и не знал, за что. У меня на душе тоже не было праздника, но одно воспоминание все-таки согревало. Свиридов, Бык, мой бывший ротный командир, сдержал слово, и это не удивило. Кто-то сзади толкнул в плечо:

— Поздравляю...

— С тебя причитается...

— Проставишься...

— Разберемся.



Но слышались и другие интонации. Может быть, этого я и боялся? Зависти, снобизма, глупости?

— Колись, какой по счету?

— Многих завалил по ходу особого задания?

— Что, интересно? — я оскалился, — не считал, калькулятор сломался.

— Там и считать нечего, главное, навести *стратегов* на нужный кишлак и — дело в шляпе, собирай ошметки.

— Ну да, миллион народа в расход — можно и наградами бряцать.

Уходя, я оглянулся на рассыпавшийся строй офицеров, поймал несколько вопросительных и сочувственных взглядов. Спасибо, ребята, но я тоже не знаю, что дальше. Теперь я не знаю даже то, что было вчера. Если кто-то принимает мой орден как пропуск в высокие кабинеты, в райские кущи, он заблуждается — меня просто похлопали по плечу, мол, заработал, а теперь без претензий, мы тебе ничего не должны. Это маячок из прошлого... Мимо меня, сквозь мои мысли, стуча каблуками по плацу, прошел Капранов, начальник автомобильной службы.

— Убийца, — он презрительно кривил лицо, он брезговал мной и он бросил это в мой адрес.

Мне захотелось его догнать, спросить, о чем он? Что имел в виду? Что он знает обо мне? Это был искренний порыв и малодушный одновременно. И я удержался. Пальцы ногтями вжались в ладони, побелели, надо было сразу бить в морду, а не ждать, когда закипит мозг. Сколько солдат погибло в Афгане просто потому, что они были солдатами. Я действительно не ангел, но все, с кем пересекались наши пути, были с оружием.

Я пытался заглянуть вглубь квартиры через плечо стройной дамы с высоким бюстом и в красном шелковом халате с драконами. Она стояла с дымящейся сигаретой в длинных пальцах, небрежно прислонившись к шкафу в кремовой прихожей.

— Добрый Вам вечер! Э-э, Виктор дома?

— Какой симпатичный молодой человек! — не торопясь с ответом, хозяйка затаилась сладким дымом и стала с интересом, бесцеремонно разглядывать меня, явно оценивая, как вещь. — Ну, заходи.

Я переступил порог, все еще заглядывая через плечо и надеясь увидеть того, к кому, собственно, пришел. Заодно я делал вид, что не обращаю внимания на ее пышную грудь. Она заметила, как я тщетно пытаюсь отвести взгляд, и насмешливо улыбнулась, словно в ее голове включился датчик, «сработало».

— А Виктор?

— Зачем нам этот козз... добросовестный офицер, блюститель морали и цепной пес перестройки. Он опять в Алма-Ату умотал, в командировку, запчасти для автослужбы выбивать... — Она с интересом ожидала моей реакции и не дождалась. — Может, и врет, кто ж его знает.

Дверь за моей спиной захлопнулась.

— Он сказал... — тут я прикусил язык, надо было остановить поток эмоций, и вообще остановиться, раз Капранова нет дома.

— Ну и что ты замер? Проходи в комнату и продолжай, раз начал.

Я вошел в комнату, неловко огляделся, не решаясь сделать следующий шаг, но уже и не желая отступать.

— Он сказал, что я... Что я — убийца, и тут же сбежал, вот я и решил задать ему пару уточняющих вопросов по теме.

Как это у них, у женщин, получается? Я ничего не собирался говорить... Плохой из меня разведчик, полный *отстой*.

— А-а, знакомая песня. То мы Брест без боя сдали, то русские — все поголовно власовцы. А что? Нормально, свежо. Навешивание ярлыков — теперь это в моде, это и есть гласность. Значит, ты тот самый герой, которому вчера орден вручали? И ты, судя по перегару, накатил стакан водки для большей смелости и пошел выяснять, кто есть кто? Жаль, однако, что он в командировке. Я бы посмотрела. Кстати, меня зовут Регина.

Она мягко протянула руку, я прикоснулся к ее ладони, ощутив теплую волну женского притяжения.

— Рад знакомству, а меня...

— Наслышаны, гарнизон у нас невелик. Командир разведроты Иван Платов! — Она многозначительно подняла глаза. — Так-то вот. Не знаю, чем ты там занимался в своем Афгане, но сдается мне — чем положено, не то, что некоторые... Расскажешь?

— Нет, — я медленно покачал головой. — Думаю, женщине этот разговор не нужен. Но я действительно накатил стакан водки.

— Все, молчу, — она включила японский кассетник, стоявший на подоконнике в пустом оконном проеме, зажгла лампу под абажуром. — Мы на днях переезжаем, стулья уже упаковали, так что у меня по-простому, присаживайся на матрац, прямо на простыню, других мест нет. Я сейчас вернусь.

В полумраке комнаты, ровно попадая в мою тональность, Пол Маккартни вместе с Битлз разливал мировую меланхолию о вчерашнем дне. *Yesterday, Yesterday...* Я даже прикрыл глаза. Да, вчерашний день не возвращается, а сегодняшний что? Вернется? Странный вечер...

Вошла Регина. Осторожно, чтобы не расплескать, она несла бокалы, полные белого вина.

— Держи. — Она вручила мне бокал и присела рядом, грациозно поджав колени. — Рислинг. Извини, водки нет. Закуски тоже. Ну что, ты готов выпить на брудершафт с обольстительной незнакомкой?

— Ты смелая.

— Не-а, я непосредственная. — Ее распахнутые с большими ресницами глаза иронично созерцали мое замешательство. Мы сделали по глотку, потом еще. — Не дрейфь, Ваня. И вообще, должен же ты отомстить своему обидчику.

Дожил, молодая женщина упрашивала меня не дрейфить, она откровенно веселилась, жила сегодняшним днем, а я... Как будто подслушав мои мысли, из кассетника зазвучала одинокая гитара Ричи Блэкмора, она тащила меня в прошлое, хотелось закрыть глаза и только слушать, слушать...

— О чем задумался? — Регина двинулась поближе, толкнула меня плечом, я оперся ладонью о матрац, и снова ее рука оказалась в моей.

— Это твоя музыка?

— Моя, любимая. Это Rainbow. Ожидал от меня доморощенную попку? Не угадал, я все-таки не блондинка. Рок-баллады... Есть в них такой тонкий-тонкий нерв... Ты чувствуешь? — Она сжала мою руку. — Чувствуешь. Я еще принесу вина, а у тебя на десерт будет Led Zeppelin и кое-что любопытное. Сейчас при желании все можно найти.

Запись была качественной, звучала неожиданно чисто, прозрачно, прослушивался каждый инструмент, но я почему-то хотел снова услышать гитару, выводящую соло для одинокого волка. Регина долго не воз-

вращалась. Наконец, она появилась с двумя бокалами, сменив красный шелковый халат с драконами на короткий халатик с орхидеями, в котором она была чертовски хороша.

— Регина?

— А что? Имею право, у меня в гостях никогда не было парня с тремя орденами, да еще такого красавчика! И по глазам вижу, этот парень мною восхищен.

Она наклонилась, протягивая вино, и тут в соответствии с романтической интригой полы халатика распахнулись, обнажив стройную фигуру.

— Ой! — ее глаза сверкнули и тут же спрятались за длинными ресницами. Поправить халатик она и не подумала.

— М-м... — на несколько секунд я полностью потерялся, не в состоянии отвести взгляд. — Ты и есть мой десерт? Уж больно худоцава, — мой голос неожиданно охрип, потерял твердость, наверное, я пытался сопротивляться ходу событий.

— Зато все, что надо, на своих местах, — в отличие от меня она произнесла свою фразу твердо, убедительно. — Я же говорила, что я непосредственная. Ну? Так ты меня возьмешь?

— Возьму... Иди сюда...

Капранов, не ведая, выписал мне премию в виде своей изящной, стройной жены. А я-то всего хотел поговорить с ним, ну, на худой конец, дать ему в пятак...

Я оглядел ее гибкое тело, провел ладонями от шеи до пальцев ног и обратно, легко скользя по каждому изгибу, по каждому бугорку:

— Сколько тебе?

— Двадцать восемь. Это много?

— Раньше, ну когда мне было лет двадцать, женщин твоего возраста я считал тетками.

— А оказалось?

— О-о, ты оказалась бесподобной, — я расплывался в глупой улыбке, на моем сегодняшнем языке это прозвучало с придыханием, как высшая похвала, как обожание.

— Бесподобная, да, бесподобная — это звание не ниже, чем полковник, да? И вообще, я давно мечтала переспать с разведчиком, м-м... Я хочу курить.

— Кури, а я буду дышать твоими запахами.

Она затаилась пахучей сигаретой, легким, как будто вишневым, дымом, и тут же выдохнула его в мои прикрытые глаза. Я подобрал ноздрями колеблющийся воздух, аромат неизвестных мне *Chanel*, запах горячей кожи, стараясь собрать этот букет воедино, спрятать его в глубинах памяти. Пусть он когда-нибудь вернется... А потом беспокоящим шелестом прозвучали ее тихие мурлыкающие слова: *что это, если не любовь?* Никто не подскажет, и я тоже не знал ответа и совсем не хотел знать.

Уже за полночь, стоя на ее лестничной площадке, я оглянулся на прощанье, улыбнулся, не раскрывая губ.

— Еще придешь? — она знала ответ, но зачем-то спросила. Надеюсь? — Я никому не скажу, никто не узнает.

Я молча, с сожалением, покачал головой: продолжения не будет. Пухлые губы, окутанные вишневым дымом с горечью никотина, продолжали манить. Хорошее вышло приключение, но от добра добра не ищут, ни возвращаться, ни оглядываться нельзя, вместе с чужой женщиной

выберешь чужую судьбу. У меня в голове уже раскручивались другие вопросы, надо было еще придумать, что сказать дома. Извини Лара, и это тоже жизнь. Мой мир непоправимо изменился, но ты ничего не должна знать. И ты не узнаешь...

Теперь я понимаю, что такое светлая полоса в жизни. Крашнин ушел на повышение в Сибирский округ начальником штаба армии, его карьера шла в рост, а через неделю и мне предложили должность начальника разведки соседнего гвардейского полка, здесь же в гарнизоне. Наверное, командование смущалось моих наград, да и Богдан, мой предшественник, вовремя решил вернуться домой, в Киев. Все совпало, хотя случается такое редко. Но для того чтобы быть убедительной, светлая полоса должна пройти испытания на прочность и на фарт. Так и случилось.

Разведрота колонной боевых машин направлялась в учебный центр на недельный полевой выход подышать свежим воздухом предгорий Тарбагатайского хребта и весенней степи, покрывшейся огромными пятнами красных тюльпанов. Нечасто выдается возможность самому управлять машиной, побыть за штурвалом, и я эту возможность использовал. Моя БМП, головная в колонне, листала километры песчано-каменистой дороги, ветер бил в лицо, обжигал. Ощущение, что ты пилот четырнадцатитонной машины, окрыляло само по себе, к тому же хотелось вернуться лет на десять назад, хоть чуть-чуть побыть мальчишкой-курсантом, и на скорости шестидесяти километров в час это получалось. Дорога стремительно нарастала, петляла, укладывалась под гусеницы, подбрасывала на взгорках, прижимала к себе в низинах, бодрила осмелевшего гонщика, то есть меня. Последний раз мы в составе роты проходили этот участок осенью, дорогу знали, до учебного центра оставалось не более двух километров.

Что-то произошло весной в предгорьях. Засыпанные снегом, они рванулись потоками талой воды, бушующими ручьями, оттого и туманы стояли по утрам, и тюльпанов в этом году было больше. Но я должен был предвидеть, что эти ручьи размоют знакомую щепенчатую дорогу. Местами еще стояли лужи, местами в тонких поперечных трещинах неслышно журчала талая вода. И вдруг эта промоина... Ширина метра четыре — ни туда, ни сюда. Была бы она меньше — проскочил бы и не заметил, была бы больше — искал бы объезд. В горах это — пропасть. Я не успевал ни подумать, ни взвесить. Ну?! Если бы попробовал думать... При резком торможении на скорости около шестидесяти машина скапотирует через острый нос, опрокинется на башню, и всем *писец*. Если не тормозить, машина не возьмет препятствие и ударится в передний бруствер промоины, ломая, убивая экипаж... Исход тот же. Кто там орал мне в ухо — газу! Газу! *До полкика!* Никто не орал, наверное, это с треском вздулась жилка на виске. Обороты быстроходного дизеля зашкаливали, он взвыл ровным, занудным, запредельным звуком, дым из эжектора стал прозрачно-синим, и в эту секунду я почувствовал, что машина в четырнадцать тонн доброго металла напряглась, вытянулась, ложась днищем, как крылом, на упругий воздух. Ласточка, давай! И она... взлетела! Я тянул на себя штурвал, как будто это был штурвал самолета, и от этого усилия зависело, как долго многотонная броня будет парить в воздухе, удлиняясь, вырастая, ища встречный поток ветра. Я всегда был прав и безошибочен, когда во мне не было сомнений, то есть, когда не думал о том, что делал. Или кто-то другой был прав со мной вместе. Линия жизни не прервется, если сам не прервешь ее.

Я выбрался из люка механика и, стоя у борта машины, глядел прокладную шершавую броню, оглядывал ходовую. Немного помят левый передний каток.

— Так ты и вправду летаешь. Про тебя всегда говорили «ласточка», я думал, так, для красного словца, — от волнения у меня постукивало сердце, и в голове был изрядный хаос. — Спасибо тебе, ласточка.

Другие машины выдерживали дистанцию на марше и успели остановиться до обреза промоины. Привал, ребята, можно курить, вам не пришлось делать выбор: взлетать или не взлетать, курите себе свободно. Неторопливо подошли разведчики, им было интересно, что тут начудил начальник разведки со своим высшим пилотажем, ходили чуть в стороне, мерили шагами промоину, прикидывали, чесали затылки, по их подсчетам выходило, что круто, но был же еще вариант резать угол. Они искоса поглядывали на меня, снова прикидывая, умею ли я летать. Нет, ребята, не умею, но умею крепко стоять на ногах, это та еще наука.

Взводный из пехоты Астахов, чьи машины были в колонне, обошел вокруг моей БМП, на всякий случай попинал катки и амортизаторы сапогом.

— Ну, Вы даете, товарищ капитан!

— А выбор? — я усмехнулся и негромко пробурчал себе под нос: *...и вот он прямо с корабля решил стране давать угля, а вот сегодня намал, как видно, дров...*

Мелодия далась легко. Она взбадривала.

— Все бы так ломали... Научите?

— Лучший учитель — опыт, а мне просто повезло. Зато, старлей, ты теперь точно знаешь, зачем в колонне нужна дистанция между машинами, а повторять... Как командир, повторять не советую. У меня сейчас светлая полоса в жизни, давно такого не было. И ведь никто не знает, когда она кончится. А у тебя?..

После совещания командир полка негромко пожурил:

— Ну что, начальник разведки, третью неделю отмечаешь назначение, летаешь?

— Товарищ полковник, Юрий Андреевич, накладка вышла.

— Накладка, говоришь? Ты смотри, из Афгана целый вернулся, а тут на ровном месте шею свернешь. До майора полгода осталось, ты уж выдержи, Платов, — он хитро сощурил правый глаз. — Ну а теперь слушай задачу. Через две недели отправляем эшелоном шесть единиц бронетехники на завод капитального ремонта в Борисове. Это две твои разведмашины, вместо них получим новые — радуйся, и еще четыре БМП из батальонов. Поручаю тебе передачу всех машин заводу, вот и поймешь, что есть начальник службы и чем он отличается от командира. Помощником у тебя будет старший лейтенант Астахов.

Сдача бронетехники — вещь, я бы сказал, тонкая, щепетильная. После двадцати лет эксплуатации машину не узнать, заменялись после ремонта приборы, блоки, израсходован ремкомплект, запасные части, куда-то делись инструменты. Зачастую, кроме металлолома, сдавать собственно и нечего. Только вот на заводе с этим не соглашались. Вы там в своей армии можете хоть прессами расплющить ваши БМП, а сдавать должны в комплекте, в котором они сходили с конвейера. Иначе у вас серьезная проблема: все недостающее надо чем-то заменить, в общем, думайте, товарищи, думайте. Было о чем подумать.

В какой-то момент на самом рубеже 90-х годов разуконплектованной оказалась не только техника, но вся огромная страна, разладились, заржавели механизмы, провернулись вкладыши ведущего вала, да и рабочие шестерни потребовали замены. В нашем узком случае лучшими заменителями любых недостающих деталей считались дезодоранты, одеколоны, кремы, пудры, шампуни и все прочее, что относилось к косметике и парфюмерии, а заодно и к дефициту. Однако некоторые заводчане считали в качестве заменителя исключительно копченую и вяленую рыбу. Я почесал в раздумье затылок, соглашаясь с обоими предложениями и даваясь только одним вопросом: сколько? Сколько всего этого добра надо взять с собой. В любом случае всех запросов мы не удовлетворим. Старые матерые технари тоже почесали затылки и решили, что на шесть единиц бронетехники чемодана косметики должно хватить (но лучше два) и, конечно, чемодан рыбы. Женщин-приемщиц на танковом заводе не меньше, чем специалистов мужчин, с которыми нам придется работать, и что-то подсказывало: договариваться придется именно с женщинами. Из всего услышанного мной следовал еще один побочный вывод: и чемодан стал единицей измерения.

Наловить жереха в Алаколе и закоптить — для местных не проблема, а вот договориться с военторгом о списании некондиции, пересортицы — это большой вопрос. В любом случае мы с Астаховым занимались только машинами, все прочее — епархия Юрия Андреевича, командира полка, его власть и обаяние все невозможное делали реальным, он был настоящим командиром, гусаром, как его звали между собой офицеры. Наконец, дивизионный эшелон, в котором была и наша «броня», укомплектовался и ушел на запад, в Белоруссию, а нас с Астаховым, неделю спустя, командир вызвал для инструктажа.

— Народ там, в Борисове, перебивается с хлеба на квас, в магазинах пусто, шаром покати. Это вам не Казахстан, — тут мы переглянулись с Астаховым. — Вручаю вам чемоданы с подарками для братской Белоруссии, используете по назначению.

Подумалось мне, они там что, хуже нас живут? Да куда уж хуже, и так все по спискам да по талонам. Наши армейские талоны обеспечивались, правда, хорошо, ну так это армия, которая неотвратимо отдалялась от народа.

— Вот в этом чемодане копченый жерех, его лучше не открывать, — Юрий Андреевич сгрудил на лбу морщины и все же гоготнул, — слюной подавитесь. А здесь, что бог послал, ну в смысле, что нашлось в закромах местного военторга.

Мы знали, что нашлось в закромах военторга, и невольно заулыбались.

Три часа лету до Москвы, сутки поездом до Борисова — мы уже в кабинете у главного инженера завода.

— Ну что, товарищи офицеры, бронетехнику когда-нибудь сдавали? Нет? Тогда будете удивлены. Но... завтра. Сейчас в гостиницу, устраивайтесь, отдыхайте. Утром с начальником цеха на хозяйственном дворе. Ну и... — он подозрительно улыбнулся, окинув нас взглядом с головы до ног, — в комбинезонах.

Про комбинезоны раньше нам с Астаховым никто не говорил, их добыча стала нашей первой задачей. Конечно, мы ее успешно решили, и на это ушли первые два баллончика дезодоранта. Ну вот, пригодились. Ска-

затъ, что хозяйственный двор впечатлил — ничего не сказать. Долгими неровными колоннами стояли грязные, ржавые корпуса танков разных модификаций, боевых машин пехоты, разведмашин, бронетранспортеров, артиллерийских тягачей, их было многие сотни, и тянулись они к самой линии горизонта. Когда-то они были в строю, выбрасывали из эжекторов горячий выхлоп, скрежетали гусеницами, теперь же от их статичных тел шел затхлый запах старого масла, солярки, жженой резины. Среди других машин, стоявших поблизости и вросших в сырой грунт, выделялись две БМП-двойки, сразу я и не понял, что так привлекло мое внимание. Повернувшись по каблуках, я рассмотрелся. Башня одной из машин — товарищи ее называют бронеклопачом — неуклюже торчала из штатного отверстия в броневом корпусе. Когда-то ее взрывом вырвало с мясом, а уж вставили обратно на прежнее место где-то в рембате, ну как смогли. Стоящая рядом другая БМП мне тоже показалась деформированной, я обошел ее по кругу, с обратной стороны не хватало двух катков с балансирами, а броневые листы вспучились от мощного внутреннего удара. Так вы из Афгана, ребята! Вот в чем дело. Под синим небом кружились души погибших боевых машин в надежде на справедливость и возрождение. Но какое уж тут возрождение, какой капитальный ремонт? Их тяжелые ранения были несовместимы с жизнью.

— Так-так, — начальник цеха, старый майор, листал картонный планшет с товарными накладными, сверяя указанные в них номера с номерами на корпусах. — Вот и ваши красавицы, товарищи офицеры. Да, были когда-то красавицами. Принимайте, передаю с рук на руки. Можете начинать демонтаж.

— Что-что? — не удержался от вопроса Астахов.

— Де-мон-таж! Вас что, парни, не инструктировали?

— Ну, так в общих чертах, — я был более дипломатичен, капитан все-таки.

— Снимаете все номерное оборудование, приборы, детали вооружения, оптику, средства связи, блоки защиты от оружия массового поражения, в общем, все, остается только голое железо. Все снятое сдаете на склады.

— А ключи? Чем снимать?

— У вас что, и ключей нет? Вы же технику сдаете!

— Есть, конечно... В общих чертах.

— Ладно, поясню одну вещь, товарищи офицеры, — начальник цеха злился, хотя и скрывал это. — Здесь танковый завод, здесь люди, то есть рабочий класс, работают, пахнут по локоть в мазуте за деньги, на которые, между прочим, ничего сейчас не купишь. Вы прикомандированы к заводу. Пока не будут подписаны акты приемки ваших машин, вы тоже — рабочий класс. Вот такой у нас инструктаж получился, ну, в общих чертах. Начинайте.

Со второй задачей — с поиском инструмента — мы тоже справились быстро, нам их арендовали в первом же ангаре, куда мы забрели, правда, спецы-работяги сначала посмеялся над нашим лапотным простодушием. Пришлось подыграть, дескать, дилетанты мы, и сегодня наш первый рабочий день. А вот дальше, когда дело дошло до демонтажа, начался ступор, поскольку почти все болты и гайки были ржавыми, напрочь прикипевшими к броне, друг к другу. К концу дня мы с Астаховым были выжаты, как лимон, упали в койки, не раздеваясь; теперь мы точно знали, что такое простоять целую смену у станка, не разгибая спины. Ломило все части тела, но еще обескураживала совершенно низкая производитель-

ность нашего труда. По моим подсчетам вышло, что на разборку машин нам не то что месяца — двух не хватит.

— Я еле жив, товарищ капитан.

— Держись, старлей, испытания нам даются исключительно для оттачивания мастерства, для совершенствования духа, — я ерничал: хоть кому-то тяжелее, чем мне.

— Держусь, только дышать невозможно, — он демонстративно вобрал ноздрями воздух, покрутил головой, приподняв глаза к чемодану, лежащему на платяном шкафу, и на выдохе непроизвольно застонал.

Я сосредоточился и тоже вдохнул. Еще бы! В комнате заводской гостиной, где нас разместили, нестерпимо, до выделения желудочного сока, до помутнения обоих полушарий мозга плыл запах копченой рыбы, того самого перезревшего жирного жереха. Я сглотнул слюну, служебный долг требовал терпеть. Ждать и терпеть — может, это главное, чему учит армия, ее школа крепка: если усвоишь урок, никогда и нигде не пропадешь.

— Будем держаться вместе.

Следующим днем сдали на склад разом все радиостанции (снимаются они легко, а стоят дорого, поэтому с них мы и начали) и другие принадлежности связи; не было только штыревых антенн, самого расходного и самого дешевого материала, однако, крепенькая розовощекая кладовщица Марина, упершись кулачками в бока, с намеком заявила:

— Так-так, а как же комплектация?

Конечно, мы сдавались не сразу, а рыскали по всему хозяйственному двору в поисках недостающих деталей, находили их, но не теперь. Над всем кладбищем машин не возвышалось ни одной захудалой антенны, связь с внешним миром им была не нужна. Астахов не очень уверенно попросил у меня:

— Может, выделим из наших запасов что-нибудь по линии связи.

— По линии связи с общественностью? Дезодоранты?

— Может, еще что-нибудь?

Вечером Астахов ночевать не явился, ну да ладно, зато вопрос по радиостанциям был закрыт бесповоротно.

В субботу у нас был короткий день, когда толком и не разогнаться, но пару десятков заржавевших гаек мы все-таки отодрали. Мелочь мелочью, но я опять сбил себе костяшки пальцев, пока крутил несгибаемый гаечный ключ, так что я вернулся в номер раздосадованный. Я — белоручка? Осознавать это было неприятно, но я смотрел на свои жилистые руки, пальцы с обломанными ногтями и плевался, все больше уважая рабочий класс, такой же несгибаемый, как тот гаечный ключ. И вот в который раз, вернувшись в свой номер, я упал навзничь на кровать, уставившись в белый потолок — наверное, пытался размышлять. А как же? Найди себя! Не сбейся с пути! Но привычный манящий запах копченой рыбы мешал моей философии, что-то неотвратимо искажал, отчего ноздри начинали расширяться, разрушая мои моральные стойки. От этого запаха можно было умереть, и я почти застонал, не в силах выстоять, но тут на соседней койке, забросив руки за голову, вздохнул Астахов.

— Какого черта! Нам же никто не запрещал!

— О чем ты, старлей?

— Я все могу выдержать, — мне показалось, он всхлипнул, — но о том, чтобы мужественно терпеть жереха, в уставе ничего не написано!

Хороший парень этот Астахов, но зачем быть таким искренним? Кажется, я непристойно оскалился. Он совершенно не скрывал своих эмо-



ций, был честным, не то, что я, капитан. Может быть, капитанам не положено быть честными? От начальников требуется быть многозначительными, поэтому они так сурово хмурят брови и прячут свои чувства.

— Ну, здесь ты прав, ничего не написано. Давай-ка проверим наш ценный груз. Пора провести техобслуживание.

Через минуту чемодан был раскрыт, и копченый дух победно шевелил наши ресницы, брови, тысячи рецепторов, отвечающих за наше врожденное рабство перед едой.

— Товарищ капитан, здесь нет седьмой рыбины.

— В каком смысле?

— Ну, в каком? В математическом.

Мы смотрели друг на друга и ничего не понимали. Нет, понимали, медленно, но понимали. И вдруг мы начали безудержно смеяться.

— Значит, уборщице, бабе Маше, можно!

— Ага. А нам, упертым блюстителям присяги, нельзя?

Мы продолжали смеяться, а в это время мой мозг перестраивался в новый формат, освобождаясь от придуманных табу.

— Ну, так что? — Похоже, Астахов все для себя решил. Он был моложе, и калькулятор в его голове работал толково.

— Что? Самую крупную рыбину в расход! — я выдохнул. — Молодой! За пивом!

— Есть, за пивом!

— Стоп! Сначала загляни к бабе Маше, — и на вопросительный взгляд напарника добавил, — с нее две трехлитровые банки. Вот теперь вперед!

Кажется, еще ни одну команду Астахов не выполнял так быстро и решительно.

Город Борисов предавался субботнему томлению, гулял по улицам, мокрым от талого снега, грелся под апрельским солнцем, обещавшим скорое начало дачно-огородного сезона. Мы же, выйдя из гостиницы, быстро добрались до узнаваемой желтой бочки с надписью «пиво», благо располагалась она за углом. У бочки терпеливо стояла очередь человек в двадцать, приличная, мы пристроились в хвост. Ждать, так ждать. Доборядочные граждане негромко переговаривались, курили, свое стояние в очереди они воспринимали как непреложную часть культурного отдыха, как если бы они стояли в театральные кассы. Два мужика, что переминались перед нами — судя по простым лицам, вылитый рабочий класс — с придыханием *трепались* о прошедшей зимней рыбалке, выясняли, кто больше вытащил карасиков да подлещиков. Увидев военных, они перестали подсчитывать улов, а тот, что постарше, с рыжей бородкой, поинтересовался:

— Товарищи офицеры, что вы тут с нами-то? Проходите уж вперед, к бочке.

— Да бросьте, постоим, — мы неловко помялись, смутившись от смелого предложения. — Мы как все.

— Не-ет, не как все. — Рыжебородый поднял вверх палец, он настаивал. — Вы — военные.

Народ, и сплоченный, и утомленный привычными очередями, с любопытством начал оглядываться в нашу сторону.

— Народ и армия — едины. Ну, так и постоим вместе с народом.

— Э-э, не на трибуне, давайте без лозунгов, — подключились другие стояльцы.

— Давайте, давайте, мы вас пропускаем.

— Мужики, вы что? — мы со старшим лейтенантом переглянулись, — неудобно.

— А нам?

Перед пожилым дядькой — чувствовалось, что это настоящий ветеран — было вдвойне неудобно, но именно он, взяв меня под локоть и подтолкнув легонько, был убедительнее всех.

— Вы в гостях, ребята, не тушуйтесь.

— Что Вы, в самом деле, не за хлебом же.

— Так и мы не за хлебом, — хохотнул рыжебородый.

Очередь оживилась. Я шел к бочке, нелепо разводя руками, как бы извиняясь перед всеми или благодаря, сзади еще более нелепо с двумя пустыми банками шел мой напарник. Теплая волна смущения грела душу. Кто мы для этих людей, отстоявших рабочую неделю у станка и ждущих свою заработанную кружку пива? Они же нас не знают. Значит, дело было не в нас. Дело было в них.

Тетка в белом колпаке важно, неторопливо наливала нам холодное пиво, попутно рассматривала нас, оценивая, ради кого столько суеты, снимала пену, снова наливала, снова снимала пену, и пока она это делала, люди ожидали, когда и до них дойдет черед. Мысли торговли читались: *свои* — подождут, ничего с ними не случится, да и потом сговорчивее будут, когда уже из их банок пена повалит. Подождут, не в новинку, тем более им есть, что обсудить: через пару недель, уже вот-вот, начнется долгожданный дачно-огородный сезон.

Добравшись до номера, расположившись, разложив на газете золотистого, лоснящегося от жира жереха, мы, наконец, выставили на стол за потевшую банку.

— Ну, вздрогнем!

Пиво было животворящим. Из приоткрытой форточки, казалось, потянуло океанским бризом, невдалеке зашелестели полусонные пальмы, а к ногам по белому песку, ласкаясь, начали подкатывать ленивые волны. Жизнь обретала новые краски, а заодно и новый смысл. А может, он и не новый вовсе, просто открылся таинственный третий глаз, и сознание перешло на следующий уровень? Уф!

— Товарищ капитан, не будем бабу Машу ругать. Да?

— Не будем.

— Она такую идею нам подарила.

— Не знал, что так бывает, — приоткрыв веки, я снова наслаждался Белоруссией, городом Борисовом, командировкой на танковый завод.

— Мы же их не просили! — Астахов вернулся к началу разговора.

— Ты про заводчан?

— Про них, товарищ капитан. У меня дед из Белоруссии. На войне ранен был, поэтому живой вернулся, мать уже после войны родилась. Так вот для деда военный — это почти святой.

— Придумываешь!

— Точно говорю. Жертвенный — значит, святой. А что солдат?

— Ну, давай, старлей, выдай мысль. Так, что солдат?

— В атаку, вперед! И — нет солдата. Жертвенный.

— Мудрый человек твой дед.

— Непьющий. Но уж если возьмется за стакан, не остановить, а третий тост — за солдата! И больше ни слова. Будет молчать, пока не свалится под стол. Один раз напился, тащу его на кровать, а он открывает глаза, а

в них слезы, как слезы, и говорит вдруг: «Жалко-то их как! Молоденькие. Им бы сопли подтереть, а их под пулемет, чтоб у фрица патроны быстрее кончились». Хотел стукнуть сухим кулачком по столу, да промахнулся, только руку об угол отшиб. А так непьющий.

— Но сейчас-то не война.

— Вот-вот, дед хоть и стар, да не прост. Так и говорит: «Эт сейчас не война, а завтра?» Он раньше был охотником, но уж лет пятнадцать ни на зайца, ни на утку не ходил, а ружьишко свое каждую неделю чистит: мол, порядок во всем *должен* быть. Посмотрит, прищурившись: а ты, внучок, готов? Куда мне с таким дедом? Вот я и стал военным. Теперь пожизненно готов.

Астахов посмотрел на часы.

— Торопишься?

— Да есть тут одна тема, — он замялся.

— А как же пиво? А вечеринка? — я насмешливо посмотрел на напарника, на вторую початую трехлитровую банку. Астахов покраснел, он менял брутальную мужскую компанию на романтическое свидание, это было не по-гусарски.

— Ладно уж, отпускаю, но с одним условием. Договаривайся, как хочешь, со своей барышней, но со складами у нас не должно быть никаких проблем. И давай уже избавимся от наших рыбных запасов, пока это добро не украли. Этим амбре по всему коридору сквозит, у нашей двери никто ровно дышать не может.

— Вот, точно! Они думают, что в Казахстане мы каждый день то осетром, то севрюгой балуемся. То жерехом.

— И кто такие они?

— Ну, кто такие... Маринины подружки, кладовщицы.

— И ты не стал ее разочаровывать, объяснять, что у нас, как везде.

— Зачем? Пусть хоть где-то будет хорошо.

— Пусть будет. Ладно, возьми с собой в подарок, — я кивнул головой в сторону чемодана.

Уговаривать Астахова не требовалось, он быстро упаковал жереха, бросил его в портфель, извинился и тут же направился на выход. Уже открыв дверь, он вдруг остановился.

— Товарищ капитан, только по-моему это не жерех, это — сазан.

— Эк на тебя пиво подействовало! Жизнь прекрасна — вот что главное. В остальном можешь усомниться. Марина заждалась тебя. Давай уже, иди.

Мой напарник спешил на свидание, я благодушно улыбался, все шло по плану. В армии без планирования нельзя. Поездка в Борисов была мне важна и по другой причине. Оставалось незаконченным мое письмо в Минск, к Платицыным, которое я отправил четыре года назад. Я получил ответ, обещал приехать, это был мой постскриптум, я обещал. Как время летит... Пустые слова ничего не значат — так, реверанс — они не обжигают, не ранят, не беспокоят, они не больше чем вежливость, но за них бывает стыдно. Я испытывал этот смутный стыд, мой внутренний раздражитель, все начатые дела надо заканчивать.

Через неделю, собрав подписи со всех приемщиков и приемщиц, рабобравшись с делами, электричкой я ехал в Минск, это всего-то семьдесят километров. Колеса привычно отстукивали утяжеленные ритмы железной дороги, выдавая на равнинный простор свою извечную рок-балла-

ду. Навстречу по соседнему пути с гулом и свистом пронесся товарный состав, я отшатнулся от окна, как будто из динамиков рванулся модный сегодня хэви-метал, заглушив все другие звуки и стук сердца.

Что для меня теперь Афганистан? Страницы моей личной истории, которые, как листву, уносит осенний ветер. Но если я все забуду, если стану Иваном, не помнящим родства, манкуртом, кто спасет от ледяного ветра беспамятства всех, кто не вернулся с войны. Они стоят с закрытыми глазами, не видя солнца, и этот ветер выдавливают из их глаз горошины слез. *«Не нужно жертв во имя прошлого. Мы хотим самого малого: чтобы нас помнили»*. Я еду к Платицыну, я — не манкурт, нам просто надо побыть вместе, поговорить. Почему он, почему не я? Каково это — уйти в тридцать лет? А есть разница, во сколько? Какие нелепые вопросы... Но может быть, это и есть самые важные вопросы. Моя душа вдруг повлажнела, есть разница... Платицын прошел путь воина до конца, вот в чем суть. И Арутюнян свой путь прошел...

Поскрипывая подмерзшей щебенкой, я долго бродил по Северному кладбищу Минска, мимо могильных плит, мимо посмертных надписей. Так всегда: что ни погост, то это неодолимое желание постоять на краю, вглядываясь в подпорченные ржавчиной старые снимки, задавая единственный вопросом: они поняли свое назначение, успели? Жизнь! Звонкий визг пыли, искра из чрева вечности. В своей жизни разберись, пока есть выбор, пока не забит последний гвоздь. «Мы — баграмская разведка, мы без дел бываем редко...», — что-то такое пели под гитару солдаты Платицына, они знали себе цену... Тоже ведь философия. Ну, вот и комбат, нашел я его, стоит все такой же гордый, как на снимке, но теперь — памятник. Ни страха, ни сомнения, ни обиды — что при жизни, что после. И на погосте, как в бою. «Нас не надо жалеть, ведь и мы никого б не жалели...» Глядя в его каменное лицо, я слышал эти чеканные слова, они сами собой выплыли из памяти, когда-то со сцены их читал все тот же Высоцкий. Ведь и правда, нас не надо жалеть.

На кладбище было пусто, как это и бывает в начале апреля, и было бы тихо, если бы не нашествие грачей, только что открывших весну девяносто первого года. Я достал бутылку русской водки, откупорил. Пластиковый стакан здесь не подойдет, в наше время таких не было. Да и водка — вещь серьезная, глубокая, уважения требует, потому что пьют ее большими глотками, как воду, чтобы снять с души запекающуюся броню; не рассчитывай сил — провалишься в нее, в бездну, тяжким будет похмелье. Сегодня я прихватил с собой старую эмалированную кружку из военного прошлого — без уважения нельзя. В нынешней обывательщине на столе все больше хрусталь, богемское стекло, и водку стали пить для тонуса, манерно, отпылив мизинец. Вот и я такой же обыватель: мне выпала жизнь, а Платицыну — мраморная глыба...

— За тебя, Саня! Не обесудь...

Три глотка — и половина кружки водки растворилась в кровеносных сосудах, достала до нужных глубин, выжав из глаза влагу и чуть тронув голову. Занюхав выпитое горбушкой ржаного хлеба, я обошел вокруг каменного героя, приложил руку к холодному камню, согрел его.

— Рассказывали про тебя. Главное, вовремя уйти? Молодым, красивым, сильным, добившись успеха? Ты же так поступил. «Нас не надо жалеть, ведь и мы никого б не жалели». К тебе приходят пионеры, по

торжественным датам о тебе пишут городские многотиражки. Это и есть слава. О тебе говорят разные люди. Поминают так, как не поминают живых. И этот памятник, как скала... Ему бы на площади стоять.

«Надо позвонить жене, — вдруг пришла мысль, — живых тоже надо помянуть, волнуется теперь, уехал — как пропал. Жаль, что она меня не понимает. Мы отдаляемся».

Еще полкружки обожгли гортань, и мысли, становясь все более свободными, изменили свой размеренный ход.

— К черту славу. Не верь мне... Ты даже деревья не посадил, дома не построил, сына не вырастил. Так зачем все? Зачем такая слава, если простая радость недостаточна. Простая — это когда видишь, как бегают по траве твои дети, как они играют в песочнице. У меня вот сын растет, хороший такой мальчуган, через год пойдет в школу, на меня похож... Ты никого после себя не оставил. Неправильно это, сначала приходит смерть, она первична, все начинается с нее. А слава, как отголосок, понимаешь, о чем я? Я тебе главного не сказал. Мы уже два года, как ушли из Афганистана. Война продолжается, но уже без нас. Там гибнут другие люди. Думаешь, все зря?..

Мне никто не мешал, но меня никто и не слышал. Черный зеркальный мрамор, как зеркало, отражал мое лицо, капитанские погоны, кружку в моих руках — в зеркале, смотревшем из глубины другого мира, продолжалась другая половина моей зачарованной жизни. Я стал думать об отвлеченных вещах, что без всякой связи прорывается из подкорки, да и кладбище располагает к размышлениям; не я первый, кто это ощутил. За неимением собеседника, иногда хочется поговорить даже с самим собой. И я говорил, уставившись в черный мрамор, слушал, как звучат мои мысли, хотел понять, насколько они чисты.

«Что, Ваня, кончились открытия, равные Колумбовым? Ну и ладно, а то сидел бы сейчас в горсовете или в исполкоме, как тот депутат без руки и с искусственным глазом. Был бы счастлив? А был бы вообще? Некоторые открытия даются слишком дорого. Лежал бы в сырой земле. Мать год за годом приходила бы на могилку поплакать о непутевой судьбе. Вот он, комбат разведчиков, образец служения и как пример, и как назидание. Не нужны ему несметные сокровища Востока, ничего ему не нужно. Тридцать лет, и все... Ну и за что он погиб? За Родину? — я невесело усмехнулся своим мыслям. — Да, за Родину, за ту, которая есть. Не было бы этой войны, была бы другая. Теперь я это точно знаю. Все хотят войны. Одни — за свободу и независимость, другие — за порабощение, теперь это называется за рынки сбыта, за ресурсы. Есть такие — кто за демократию. Война — это данность, увы. И мне, и Платицыну выпал Афганистан, раньше в мире и не знали, что есть такая страна. Она и есть мой меморандум. Надо уже поставить точку, иначе я оттуда никогда не вернусь».

Влажный апрельский ветерок обдувал мою непокрытую голову, заодно освобождая ее от посторонних мыслей и возвращая в сегодняшний день. Кто здесь, кроме меня? Кроме меня здесь были уважаемые люди, много уважаемых людей, целое кладбище. Кто-то из них добился своей цели, кто-то нет. Но теперь все равны. Все значительны в своей мраморной ипостаси, как прочитанные книги, ставшие классикой. Самую выдающую классику в свои времена создали шумеры, они писали на камнях и были краткими. Мы только подражаем: родился — умер — скорбим — помним.

— Вот так, Саня. Твое время остановилось, это и есть сухой остаток, извини, брат... Где Белоруссия, а где Афганистан? — Еще один запоздавший вопрос вырвался из спрессованного воздуха, вызвал усмешку. — Ну, на посошок. Пора ехать, служба у меня, документы еще подписывать.

Я оглянулся, собираясь уйти, и оказалось, что среди живых я здесь был не один. По кладбищенскому ряду, между могил неторопливо брел, опираясь на натертый до блеска бадик, одинокий неухоженный старик. Его седую голову прикрывала мятая фетровая шляпа, возрастом не на много младше своего хозяина.

— Здорово, отец!

— И ты здравствуй, сынок, — он взгляделся в меня подслеповатыми глазами. — Величать-то тебя как?

— Иван.

— Иван? Это хорошо. Русское имя, надежное. А меня дедом Федором зовут, меня здесь все знают, каждая собака, да. Раньше-то я тебя не видывал. К кому пожаловал?

— К другу, — я непроизвольно развел руки, как будто извинялся.

— Знаю, знаю такого, военный, молодой, — он кивнул в сторону крылатого Александра Платицына. — Военные, они все молодые, как в те времена... Я, почитай, каждый день мимо него хожу.

— А ты, дед Федор, кого здесь навещаешь?

— Жена у меня тут, давно уже. Четверых ребятишек мне родила, четыре жизни подарила, а себе ни одной не оставила. Так и ушла молодой. Давно это было.

— И ты все ходишь сюда?

— Хожу, а как же? Поговорить, рассказать, как дела. Поговоришь, и на душе покойнее, и совсем не одиноко, вроде как она никуда и не уходила, а ставит сейчас самовар дома. — Старик замолчал, ненадолго погрузившись в свои путаные мысли. — Чудно, сынок, получается. Уж как я ее любил, какая у нас романтика была... Выходит, любовь не спасает, никак не спасает. А за друга своего ты не грусти, даже не думай, хорошо ему там. Мне моя Елена Прекрасная рассказывала.

— Кто?

— Женушка моя. Я к ней днем хожу, а она ко мне по ночам приходит, вот и рассказывает. Хорошо у них. Там все в согласии, во взаимности, там чужих нет — все свои.

— Держись, дед Федор... — Мне хотелось успокоить смущенный старческий разум, сказать, что там, на небесах, они с Еленой Прекрасной обязательно встретятся, других дорог нет, но обывательская привычка к ханжеству прикусила мой язык, и я запнулся. — Все будет... все образуется, дед.

— За что мне держаться, Ваня, на кой? Не забирает меня, Господь, видать, крепко я провинился перед ним. Может, и наделал чего по молодости, всякое было, так ведь и война была. Меня и стреляли, и бомбили, и в окопе мерз, и хоть бы что. Приказ начальника иной раз пострашнее правды будет. А она, женушка моя, безвинная, вот за меня такого, за мои грехи отчитываться пошла, отмаливать меня перед Господом. Ты-то, Ванюша, тоже, небось, грешил? Военный как-никак.

— Я? — вопрос застал меня врасплох, как вора, пойманного с поличным, и от ощущения неправды к лицу прилила кровь. — Получается, что грешил. Жизнь прожить — не поле перейти.

— Не бойся, Ваня, раз дружок у тебя там есть, постоит он за тебя, постоит. Мы, русские, все *за други своя* стоим, не бросаем, не положено нам. Так ты верь ему.

Покидая кладбище, я чувствовал спиной взгляд старого солдата и крест, которым он меня осенил, которому еще долго греть мою душу. Чего бояться, если за тебя стоят по обе стороны света? Все будет, как должно. Сюда я уже не вернусь, ни к чему, душа и так вездесуща, ей неведомы якоря. Я уходил, а мне вослед все так же безудержно, перекрывая друг друга, орали грачи, они настойчиво заявляли, что весна добралась и до здешних краев, ну разве что опоздала на пару дней.

